

Мария Романушко



НЕ ПОД ПУСТЫМ НЕБОМ

роман-трилогия
«Побережье памяти»
книга вторая

Мария Романушко

**Не под пустым небом. Роман-
трилогия «Побережье
памяти». Книга вторая**

«Издательские решения»

Романушко М.

Не под пустым небом. Роман-трилогия «Побережье памяти». Книга вторая / М. Романушко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-513244-4

Книга об удивительных людях 70-тых годов прошлого века, о творчестве, о поисках веры. О встрече с Отцом небесным и отцом земным. На страницах этой книги читатель вновь встретится с Людмилой Окназовой и Валерием Каптеревым и с теми, кто составлял «каптеревский круг»: учёными Александром Пресманом, Кириллом Кнорре, Владимиром Залетаевым, художницами Татьяной Шевченко и Еленой Колат... А также с отцом Александром Менем, отцом Сергием Хохловым и многими другими замечательными людьми.

ISBN 978-5-00-513244-4

© Романушко М.
© Издательские решения

Содержание

Глава первая. Обкусанное небо	6
Глава вторая. После конца	21
Глава третья. Притяжение очага. Каптеревы	35
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Не под пустым небом Роман-трилогия "Побережье памяти". Книга вторая

Мария Романушко

Дизайнер обложки Мария Романушко

© Мария Романушко, 2020

© Мария Романушко, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-0051-3244-4 (т. 2)

ISBN 978-5-0051-3197-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

...Я брела пустынным берегом моря, унося это осеннее побережье в своём сердце... Тихое, туманное побережье – в горькой дымке от медленно чадающих костров, солёное от брызг и слёз. Пахло гарью...

В каждой раковине, в каждой песчинке, выброшенной на берег, шумело море... шумело время... 1972 год.

Огромный, бесконечный, счастливый и ужасный... Год, отбросивший печальную тень на моё настоящее и высветивший будущее, хотя на этот свет было больно смотреть и невозможно его воспринимать. И пока он воспринимался как тьма.

Море... время... пустынное побережье Восточного Крыма...

Глава первая. Обкусанное небо

Возвращение в Москву из Крыма. Вечер, дождь, октябрь, звоню с вокзала Гавру.

Силы были рассчитаны только до этой минуты: добежать до ближайшего телефона-автомата, набрать его номер – и услышать в трубке его голос. Голос, который вливает в меня жизнь.

Долгие, слишком долгие длинные гудки... Странно. Он обычно берёт трубку тут же. В это время он работает дома, и телефон у него под рукой. Наконец, к телефону подошла его жена и сказала, что Гавр в командировке в Ленинграде. Услышав, что я уже вернулась, она стала зазывать меня в гости. И я почему-то согласилась. Мне хотелось уж если не услышать и не увидеть его, то хотя бы посидеть на его стуле за его столом, настучать на его старенькой пишущей машинке какое-нибудь своё крымское стихотворение. И оставить его в машинке: чтобы он приехал – и тут же прочёл.

И потом: жена – это ведь как бы часть мужа, так что пообщаюсь хотя бы с частью Гавра. Хотя я не верю во все эти сказки про то, что муж и жена – это две половинки одного целого. Какие две половинки, если люди перед свадьбой договариваются о том, что, если влюбятся, то сразу друг другу честно об этом расскажут? Какие две половинки, если изначально это допускается – влюблённость в других людей?... И очень скоро Гавру пришлось выслушивать исповедь своей жены, которая честно выполнила договор: сразу всё рассказала. И когда он мне рассказывал об этом, мне всё это казалось какой-то дикостью. Тогда что такое семья? Зачем вообще это всё затевать, если заранее известно, что будут эти исповеди друг другу? «Нам обоим хотелось иметь ребёнка», – сказал он. Видимо, выросшие дети не наигрались в куклы... Захотелось живой куклы. А как эти живые куклы делать, им рассказали на уроке анатомии в школе. Хотелось проверить, правильно ли их учили? Вроде, правильно. Всё получилось. Видела я их трёх-летнюю куклу, когда он привёз её на несколько дней с дачи. Зовут Анка. Славная, очень похожа на Гавра. Только взгляд другой: у него – открытый, распахнутый, светящийся, а она своими карими глазками смотрит исподлобья – то ли настороженно, то ли испытующе. Гавр попросил меня: «Расскажи ей свою сказку про Паучка». «Не могу, стесняюсь», – честно призналась я. Мне было как-то не по себе от этого испытующе-настороженного, совершенно недетского взгляда.

Он уложил её спать в другой комнате, и я услышала из-за двери его голос, читающий мои стихи:

В королевстве за рекой,
В розовых тюльпанах
Жил-да-был народ чудной,
Прямо-таки странный...
Мог не спать хоть сто ночей,
Мог не есть неделю.
Перепахан до ушей
Синей акварелью...

Гавр обожает эту сказку. Сказка с подтекстом, она многим нравится. Гавр говорит, что влюбился в меня именно в ту минуту, когда я читала на лито «Сказку про Паучка, остановившем время». Это случилось 13 июня 1972 года. Исторический для нас день. Неужели это было только четыре месяца назад?... Какая огромная жизнь прошла с тех пор!.. Кстати: я в тот день была на лито впервые и оказалась на нём совершенно, абсолютно случайно. И Гавр тоже впервые! Его позвал с собой приятель. Ну, что это, как не судьба?... И он тут же рассказал обо мне своей жене. И она это восприняла совершенно спокойно, даже обрадовалась. «Обрадова-

лась?!» – не поверила я. «Да. У неё давно вызревает мечта: она говорит, что идеальная семья – это одинокая мать с двумя детьми. Поэтому она так настаивала на втором ребёнке».

Но вряд ли их дети – малышка-дочка и ещё не родившийся сын – мечтают о том же, о чём мечтает их мать. У них-то она спросила, какая, на их взгляд, идеальная семья? Наверное, всё же та, где родители любят друг друга. (Сказала и подумала: какой жуткий словесный штамп! И при этом – никем не отменённая, единственная истина.)

Но если любви давно нет? Если её и не было никогда?.. А то, что в восемнадцать-двадцать лет принимается за любовь, порой вовсе и не любовь. Это как малые ребята играют в «дочки-матери», в «мужья-жёны». Только дети в этих играх – не игрушечные, а настоящие. И они смотрят на вас грустными, вопрошающими глазами... Гавр стал отцом в двадцать два года. А мой отец, между прочим, ещё раньше – в двадцать один. Но ничего хорошего из этого не вышло – одни слёзы...

Нет, я не собиралась помогать его жене в осуществлении её мечты – «одинокая мать с двумя детьми». Я ведь не стерва. Хотя одна из подруг сказала: «Вот и плохо, что не стерва. В жизни надо быть стервой! Только стервы в этой жизни и счастливы. Да ты ведь не отбираешь его ни у кого! Она сама мечтает от него избавиться. Ещё и спасибо тебе скажет».

Но скажут ли мне спасибо их дети?..

Даже мысленно я не проигрывала этот вариант. Не только не смотрела в ту сторону, не только ничего не планировала, но даже и не мечтала, и не фантазировала. С той самой минуты, как он сказал, что у него есть дочка, во мне как будто вспыхнул семафор с красным глазом: «Сюда – нельзя!!! Невозможно!!! Опасно для жизни!!!» Так что наши гуляния по крышам и по бульварам, и горы стихов, написанные друг другу за это лето и эту осень, не значили ровным счётом ничего, кроме горькой и нежной дружбы, ничего – кроме саднящей боли оттого, что всё так поздно, безнадёжно поздно...

Хотя, разве поздно мы встретились? Мне всего двадцать один год был в июне, когда мы познакомились, а ему двадцать пять, – разве это поздно? Просто он слишком рано выскочил в мужья. Но с этим уже ничего не поделаешь... дело сделано.

Всё-таки поразительно, как легкомысленны ранние браки! «Симпатичная, весёлая, хорошо играет на гитаре, с чувством юмора всё в порядке. Пожалуй, надо жениться». А если, к тому же, девчонка старше парня, и она – первая, кого он поцеловал, то будет так, как решит девчонка. Захочет – возьмёт в мужья вчерашнего школьника, захочет – поищет кого-нибудь постарше. Но многим, как ни странно, нравятся малолетки: из мужа-мальчика легко сделать то, что тебе нужно, муж-мальчик – это почти всегда «муж-слуга», как верно заметил гениальный Грибоедов в своей гениальной комедии. Гавр был младше своей весёлой жены, остроумной и хорошо играющей на гитаре.

Но пусть они сами там между собой разбираются! Со своей комедией... Пусть сами придумывают ей окончание, или продолжение. А я даже думать не хочу на эту тему.

Надо только набраться духу и сказать ему: «Не звони мне больше». А как это сказать, если его голос в телефонной трубке – моя главная опора в жизни?..

Конечно, у меня есть ещё дом на Огарёва, куда меня всё время тянет, как магнитом. В этом доме живут художник Валерий Каптерев и его жена поэт Людмила Окназова. Это Гавр меня с ними познакомил, ещё летом, и с тех пор они – мои самые большие друзья. Я из Крыма писала им письма и, бродя пустынными осенними пляжами, мечтала о том, как вернуться в Москву и тут же прибежу к их очагу... погреться. Им я тоже позвонила сразу, с вокзала. И Валерий Всеволодович сказал: «Ждём вас завтра к обеду».

А ещё у меня есть моя сестра – Поэзия, которая всегда рядом, держит меня за руку, не даёт отчаяться.

Так что я не могу себя назвать бедной, или бедняжкой.

А ещё у меня есть Мой Клоун. Который умер... Умер, чтобы уже никогда не покинуть меня. Смерть – такой мистический эпизод человеческой жизни... совершенно непостижимый. Не постижимый умом. Ну как, как это возможно?! Навсегда уходя – человек при этом навсегда возвращается. И так остро чувствуешь его присутствие... Даже при жизни не было так остро. Так полно. Общение продолжается! И, кажется, что сейчас мы гораздо лучше понимаем друг друга. Кончилось недопонимание, кончились разночтения...

Вот и выходит, что я – очень богатый человек. И если скажу Гавру «не звони», и он послушается меня – то я это как-нибудь переживу... Переживу и это. Ведь пережила и более страшное... И не умерла. Зачем-то...

Зачем-то не умерла. Значит, есть у Господа Бога на меня какие-то виды. Значит, будет у моей жизни продолжение.

Посмотрим, какое...

* * *

У Гавра – без него. Его жена угощает меня чаем, и я вижу, что она реально хорошо ко мне относится. Поразительно! Мы мило болтаем. Придумываем имя для их сына, который должен родиться уже через месяц, в ноябре. Я предлагаю назвать его Лёней, Леонидом. Это – имя Моего Клоуна. Прекраснее имени (для меня) не существует. По крайней мере, на сегодняшний день. Но она говорит:

– Это невозможно.

– Почему?

– Будет трудно объяснять всем, в честь кого мы его так назвали. Каждому встречному придётся растолковывать, что назвали мы его вовсе не в честь Витькиного брата. А в память о человеке, которого любит женщина, которую любит Витька. Нет, это слишком сложно.

(Для меня он – Гавр, поэт и философ. А для неё – просто муж Витька.)

– Тогда называйте своего сына, как хотите, – говорю я. – У меня других вариантов нет.

...А за окном сеялся серый, унылый дождь... И небо было низким и серым, и казалось, что оно обкусано мокрыми, тяжело нависшими, ржавыми крышами... Анки дома не было, она, как послушный ребёнок, ходит в детсад, и её мать убеждена, что дочке там хорошо. Кстати, это Гавр её называет Анкой. А мать – просто Анькой. «Анька» да «Витька», «Витька» да «Анька» – мне это почему-то не нравится. Как-то пренебрежительно звучит, неласково, я бы так своих близких не называла...

* * *

У Каптеревых.

Они действительно ждали меня к обеду! Каптерев ведь так и сказал: «Ждём вас к обеду». Но я не приняла этих слов буквально, я не подумала, что они не станут без меня обедать, а будут ждать меня. Когда я пришла часов в пять, Людмила Фёдоровна сказала, что не могла уговорить Валерия Всеволодовича пообедать, он упрямо твердил:

– Я буду ждать Романушку!

Мне стало стыдно, что так вышло. И я поняла, что здесь, в этом доме, ко мне относятся всерьёз. Даже слишком всерьёз.

Мы сидели в маленькой кухоньке и после чудесного сырного супа и горячего пахучего чая читали друг другу стихи...

* * *

На Ваганькове.

Портрет, мокрый от дождя... Кажется, что ты смотришь из залитого дождём окна... Здравствуй, милый! Вот, смотри, сколько я стихов тебе написала. Целую книгу...

Хорошо, что дождь, и никого вокруг... Не то, что летом: толпы гуляющих, со своими вездливыми вопросами: «Девушка, а кем он вам приходится?» «Девушка, а кто вы ему?» И – самый наивный и убийственный: «Ой, а Енгибаров, оказывается, умер?..» Любит у нас народ гулять по «знаменитым» кладбищам и задавать идиотские вопросы!

Сейчас – никого...

Слушай.

Всегда на нас с тобой смотрели
Десятки любопытных глаз:
Партнёры, публика в партере,
Оркестр, униформисты... – страсть!
И разделял барьер манежа
Меня с тобой – увы! – всегда...
Смотрела грустно и прилежно
На представление – час, и два,
Неделю, месяц – и полгода,
Давно всё зная наизусть...
Чтоб только глянул исподлобья.
И я кивну, и улыбнусь
Но Ваша слава! Как софита
Слепящий и туманный свет...
Решиться, подойти? Но свита
Поклонниц тащит Вас в буфет...
...Вот и теперь. Твоя могила
На самой людной из аллей.
Ты даже после смерти, милый,
Как на манеже...
Мой удел —
Печален.
В сердце жуть и стоны —
Но смотрят те ж десятки глаз...
О Господи! Без посторонних
Мне даже не оплакать Вас.

Присев на корточки, глажу травинки, они такие живые, ярко-зелёные...

Осторожно глажу рукой
зелёный ёжик травинок
на свежем холме...
Подумать только:
уже проросли травинки,
и уже муравьи
успели поселиться в них
и живут своей суетливой,
полной муравьиного смысла
жизнью...
А я всё ещё не верю

В ЭТО.

Ну, что тебе рассказать, милый? Ездил в Крым... в свой любимый Судак. Хотела умереть. Не вышло... Сидела на вершине Крепостной горы, у подножья Девичьей башни... отсюда какая-то страдальца бросилась когда-то в морскую пучину... Я хотела повторить её подвиг. Но – что-то не пустило... Или Кто-то. Не знаю. То ли моя слабость, то ли высшие силы...

* * *

Дома.

Стихи, привезённые из Крыма, лежали на моём письменном столе. Их прочла мама. Без спроса. Когда я пришла домой, она неожиданно закричала:

– Ты эксплуатируешь свое горе! Ты сделала несчастье источником вдохновения! Это – аморально!

В её взгляде – нескрываемое раздражение.

Что я могла возразить ей в ответ?.. Что-то говорить, доказывать – означало бы оправдываться. Оправдываться в том, что я – выжила, а не погибла. Не сбросилась с утёса, или – не стала пить водку... Наверное, пить водку – выглядело бы «моральнее». То есть: естественнее, нормальнее. Про прыжки с утёса я уж и не говорю!

Эксплуатирую своё горе?.. (И сейчас, спустя столько лет, порой всплывает в памяти этот раздражённый укор.)

Но вот перед путником воздвиглась гора... И кто упрекнёт человека в том, что он эксплуатирует свои мышцы и своё сердце, чтобы одолеть эту гору? Чтобы, взобравшись на вершину, убедиться: гора – не стена. Не конец. А лишь – продолжение пути...

Сделала несчастье – источником?

Да, наверное, это так. Только не я сотворила это чудо – а Музыка. Музыка, связующая концы и начала. Музыка, не дающая душам разлететься безоглядно во вселенной...

Да и есть ли у вдохновения другие источники? Более глубокие, более неисчерпаемые?..

Вряд ли со мной будут спорить те, которые знают: вдохновение – не отдохновение; это – предельное напряжение души, призванной к Работе.

* * *

Сажу за своим столом и смотрю в окно.

В окне – небо, обкусанное ржавыми, осенними крышами...

Небо обкусанное
ржавыми осенними крышами...
не знающая усталости
деревянная рука скуки
крутит унылую шарманку дождя...
глубокая-глубокая осень
из неё уже нет выхода —
так далеко мы зашли...

* * *

У меня есть любимое воспоминание.

Воспоминание под названием: «Встреча на длинной солнечной лестнице».

(Это было так давно, что приходится писать о себе в третьем лице).

...Они встретились после дождя, в солнечный вечер, в сентябре, у моря...

Встретились на длинной каменной лестнице. Справа и слева от лестницы – колоннада высоких, мокрых после дождя кипарисов, просвеченных солнцем... Казалось, лестница проложена в зелёном солнечном туннеле. Каменные мокрые ступени усыпаны кипарисовыми иглами... В этом туннеле стоял густой, будоражащий запах бархатного сезона и – близкого цирка...

Они увидели друг друга, ещё когда он был на первой ступени вверх, а она – на первой вниз. Она не могла не узнать его, потому что именно его она здесь и поджидала... Она хотела совсем малого. Хотела сказать ему:

«Здравствуйте!»

Она пошла вверх, и чувствовала, как дрожат у неё колени, а он легко сбегал вниз, с синей спортивной сумкой, перекинутой через плечо... И он опередил её! Он первый сказал ей:

– Здравствуйте!

Ей лишь оставалось ему ответить...

Приостановившись на какое-то мгновение, глядя на неё с весёлой улыбкой, он спросил:

– А почему такие синие глазки?

Она смущённо пожала плечами и ничего не ответила. И – они разошлись.

Он продолжал сбегать вниз, он спешил в цирк, на вечернее представление, а она продолжала подниматься вверх, и дрожь в коленках была ещё сильнее. Она могла бы уже и не идти вверх по этой крутой лестнице, ведь цели своей достигла: они поздоровались как ЗНАКОМЫЕ. Значит, он запомнил её! Когда несколько дней назад, на представлении, она подарила ему цветы...

Потом, когда она была уже наверху, а он на последней ступеньке вниз, они оглянулись – одновременно! – и улыбнулись друг другу. Семнадцатилетняя девочка и великий клоун...

Вот и всё.

И лишь одному Господу Богу было известно, что впереди у них ещё много, много встреч... Но уже не здесь – а в Москве, и почти три года должно пройти.

И будет дружба, и споры, и ссоры, и письма, и песни, написанные по его просьбе – ею, и стихи, написанные ему, но никогда ему не показанные... И будет ломка всей судьбы – у неё: уход из института, уход из дома, житьё по знакомым, придумывание клоунад, занятия пантомимой, мечта о манеже... И будет напряжение всех сил – у него: чтобы сбыться, осуществиться до конца; и это произойдёт, но... ценой жизни.

И будет прощание, ставшее Новой Встречей...

Но разве можно было всё это представить, предугадать – там, на длинной солнечной лестнице после дождя?..

* * *

И тогда я решила пойти к *ней*. К той, которая стояла рядом с его матерью у гроба. К циркачке Ядвиге. К «девчонке, которая умеет летать» – так он её называл в своих рассказах... Я подумала: только она может понять мои стихи. Только ей они, может быть, по-настоящему нужны.

Я слышала, что она выступает в новой программе в Большом цирке на Воробьёвых горах. Набравшись духу, иду...

Старенький дежурный у служебного входа. Наверное, бывший артист, вышедший на пенсию, но не пожелавший расставаться с цирком. Из цирка просто так, по своей воле, не уходят. Только если умирают...

Прошу позвать её – Ядвигу Кокину. Кстати, она латышка, из Риги.

Дежурный куда-то звонит, говорит мне дружелюбно:

– Сейчас она выйдет. А это ваша родственница?

Почему он так решил? А... голубые глаза. А так, вроде, ничего общего, по-моему. Только глаза. Ведь у меня тоже есть немного «прибалтийской» крови – чуть-чуть эстонской, чуть-чуть польской. Меня уже не раз в жизни спрашивали: «Вы не из Прибалтики?» – и приходилось отвечать: «К сожалению, нет. Даже никогда не была там». И в этот раз я ответила с сожалением:

– Нет, не родственница.

– А кто? – не унимался он.

– Подруга.

Почему я так сказала? Потому, что так чувствовала. Ещё с прошлого лета, когда звонила иногда Моему Клоуну, а трубку брала она. Но знакомы мы не были. Просто я знала, что это – она, «девчонка, которая умеет летать». Так называл её он. Но в то лето она не летала, а лежала, скованная гипсом, а он и его мама за ней ухаживали... и телефон стоял у её кровати... Он называл её очень светло – «Яся»... – ясная, светлая... Первый раз я увидела её на похоронах, когда она стояла рядом с его мамой... и я догадалась, что это она – Яся, девчонка, которая умеет летать...

– Хорошо работает ваша подруга, – говорит дежурный с улыбкой. – Восстановиться после таких тяжёлых травм, какие у неё были, и опять летать – не каждый сможет. Да вы проходите, посидите в вестибюле.

Сию. Хожу. Жду... Жду долго... Или мне кажется, что долго? Её всё нет. Меня охватывает смятение: Господи, зачем я пришла сюда? Что я скажу этой женщине? Что она скажет мне? И что я, вообще, хочу от неё услышать? А если она скажет... «Зачем вы пришли ко мне? зачем мне ваши стихи? мне и так больно, а вы ещё посыпаете солью раны...» Может она так сказать мне? Может она увидеть во мне соперницу? Может она испытать ревность?.. Наверное, может.

Хотя... кого и к кому теперь ревновать? и за кого соперничать?.. А за память соперничать невозможно. У каждого она – своя. Своё побережье памяти... И чем больше нас – тех, кто его помнит – тем ему лучше. Наверное... Если вообще наши чувства и переживания его как-то касаются – в его далёком далеке... В его невозможном далеке...

Видит ли он нас? слышит ли он нас? значим ли мы для него хоть что-то – мы, оставшиеся на этой грустной и пустой земле... Бесконечно грустной и пустой *без него*...

Ну, тогда повернусь и уйду, если она что-то такое скажет, что-то болезненное для меня.

Боже мой, идёт!.. Высокая, стремительная, гибкая, как кошка, как пантера – в своём чёрном трико. А глаза не просто голубые – синие, пронзительные...

– Здравствуйте, – говорю охрипшим от долгого ожидания голосом.

– Здравствуйте, – говорит она, удивляясь.

– Это – вам, – говорю я и протягиваю ей целую гору страниц.

– Мне?.. – удивляется она ещё больше.

– Да. Это стихи о Лёне. Кроме вас, я думаю, их никто не поймёт. Поэтому я принесла их вам.

Она смотрит на первую страницу... как будто что-то вспоминая... И вдруг говорит тепло, с мягкой улыбкой:

– Мне знакомо ваше имя. Лёня показывал мне ваши стихи. Я прочту, конечно. Сегодня же прочту. А сейчас, извините, мне надо готовиться к выходу, я участвую в парад-алле... До свидания. Заходите ещё.

– Когда?

– Когда вам будет удобно.

* * *

На творческом семинаре в Литинституте.

– Ну, прочтите нам что-нибудь, – говорит Евгений Долматовский, руководитель нашего семинара. – Вы так долго отсутствовали. Ну-с, чем вы нас порадуете?

Мне трудно читать свои новые стихи вслух. Потому что ком подступает к горлу... и я начинаю жутко волноваться, и голос начинает рваться... голос последнее время плохо меня слушается. Но я попробую... попробую справиться.

* * *

Как быть должно – пусть будет так,
Уж если я на жизнь решилась...
Друзья ли, молодости сила
Внушили мне? Но этот шаг
Я всё же предпочла – тому,
Чтоб следом за тобою – тенью...
Но я туда проникну пенем,
В пласты земли – в покоя тьму...
Не зарекаюсь. Может быть,
Не скоро – но вполне возможно:
Влюбляться буду...
Но любить —
Всей мукой, всей тоской, всей кожей?..

– Так... понятно. А ещё что-нибудь?

* * *

Безлунная и беззвёздная ночь.
За парашютом набережной
земля обрывается —
безликая тьма...
И в ней
ворочается и вздыхает
что-то невидимое – но огромное,
шипит,
бормочет,
влажно и тепло дышит в лицо...
Я знаю – это вечный Хаос,
который когда-то породил нас
и все наши страдания —
и безжалостную надежду
на слишком скорое избавление...

– А повеселее у вас ничего нет?

* * *

Предчувствия

никогда не обманывали меня.
И теперь они —
как неумолимые билетёры
в дверях Волшебного Театра —
которые упрямо твердят мне:
«Сезон окончен.
Больше ничего не покажут...»

Евгений Аронович смотрит на меня неприязненно и говорит строго, даже жёстко:
– Вы слишком молоды, чтобы писать такие трагические стихи!
– Когда-нибудь и я постарею, возраст – дело наживное... Но вряд ли я когда-нибудь буду писать оптимистические стихи. Для этого нет повода.
– А почему нет рифм?
– А рифмы здесь не нужны. Мне сейчас вообще не до рифм... И потом, я пишу так, как выливается из души, я всегда так писала. Когда приходит стихотворение, я не думаю в этот момент, в рифму оно или не в рифму – просто записываю его, и всё.
– Творчество должно быть управляемым процессом. Почему столько стихов на одну тему? Вы перепеваете саму себя.
Перепеваю саму себя?... Не себя перепеваю, а свою тоску. Просто она никак не выльется вся из души...

* * *

Через несколько дней.
Опять прихожу в цирк на Воробьёвых горах. Старенький дежурный уже узнаёт меня. Опять жду... Страшно волнуюсь. Господи, как я волнуюсь! Почти так же, как когда ждала у служебного входа Моего Клоуна...

Брожу по громадному, холодному вестибюлю... стою у огромного, настуженного окна, у стеклянной, ледяной стены... Всё такое огромное и холодное. Весь мир такой огромный и холодный. Как громадный кусок льда. Как будто наша Земля уже давно остыла и превратилась в кусок льда... А за ледяной стеной – осень, дождь... и жёлтые листья распластаны на мокром, чёрном асфальте – как маленькие распятья, растоптанные сотнями ног...

...Низкое, мрачное небо, обкусанное тёмными, тяжёлыми крышами...

...Ядвига выходит из-за кулис, высокая, стремительная... такая вся светлая, синеглазая... Короткие светлые волосы слегка растрёпаны... быть может, она только что репетировала... Я готова к каким угодно словам, к какой угодно реакции... я так переволновалась, пока ждала её, что сделалась совершенно бесчувственной. Как будто мёртвой. Она стремительно подходит ко мне и порывисто, горячо обнимает:

– Спасибо! Спасибо вам! Вы написали то, что я сама хотела бы написать, только я не умею... Я плакала, когда читала... очень плакала. А потом мне стало легче... Они – мои?
(И он меня так же спрашивал всегда!)

– Я не должна возвращать их вам? – спрашивает она. – Я не хотела бы с ними расставаться.

(И он говорил так всегда! Он тоже никогда не хотел расставаться с моими стихами!)

– Они – ваши, – говорю я. И чувствую, как тепло разливается по моему телу, тепло заливает сердце, и я опять становлюсь живой...

Она обнимает меня: «Спасибо!». Нет, она не увидела во мне соперницу. Она не почувствовала ревности. Она увидела и почувствовала во мне *сестру*.

...Так потом и будет, в течение многих лет. Когда жизнь будет устраивать нам встречи, мы будем встречаться, как сёстры. Так что старенький дежурный у входа был прав, когда спросил меня: «Вы – родственницы?»

Ядвига немного старше меня. Мне двадцать два, ей – двадцать четыре. И нам обоим кажется, что самое главное и самое лучшее в нашей жизни – уже позади...

...А в тот, второй мой приход, она позвала меня за кулисы. И на спектакль. И наконец-то я увидела её в полёте – девчонку, которая умеет летать...

Их номер назывался «Галактика». И она была в этом номере главной звездой.

Несколько мужчин и одна девушка. Они летали в воздухе, попирая силу тяжести и силу земного притяжения... Они не просто летали, они делали в воздухе невообразимые кульбиты... И каждый раз приходили чётко в руки «ловитора» – партнёра, который висел на трапедии вниз головой и ловил своих летучих товарищей. «Ловиторов» было два. Они отправляли в полёт – и они принимали. Чёткость и выверенность движений тех и других была просто филигранной. И при этом – удивительная свобода и непринуждённость!

А в конце номера в зале погас свет, и все летуны с трапедий попрыгали в сетку, натянутую над манежем. Но – нет, не все! Ядвига в этот момент поднялась под самый купол – и светилась там, фосфорицируя, светилась, как настоящая звезда! И вдруг... – она сорвалась оттуда и – полетела вниз! С двадцати метровой высоты... во тьме... вниз... как августовская падучая звезда!.. И многотысячный амфитеатр ахнул и замер... и перестал дышать... И вот она уже сверкает и плещется в невидимой сетке... И тут – полный свет! Гром аплодисментов, крики восторга!

И она, улыбаясь, помахала мне... да, именно мне.

– Приходите ещё, – сказала она на прощанье.

– Я приду с другом. С художником Каптеревым. Он тоже любит цирк.

– Я буду рада, – улыбнулась она своей милой, тёплой улыбкой. У неё удивительно милая улыбка – открытая и немного застенчивая.

* * *

Наконец, вернулся из командировки Гавр.

Гавр забрал из переплётной мастерской мои стихи. Он радовался больше, чем я. У меня было только изумление. Изумление – и благодарность: ему, моему издателю.

– Не забывай, когда станешь знаменитой, что я был твоим первым редактором, – сказал он, смеясь.

...В Крыму, я получала от него письма. Каждое утро бегала к скрипучей калитке и залитому дождями почтовому ящику. С ума сходила – нет, не о нём; стихи писала – не ему, другому – тому, кто уже не мог их прочесть; но жить не могла без этих писем. Это было – донорство. Я понимала это. И я, всегда такая гордая и независимая, принимала это. Потому что мне нужны были силы, чтобы писать, чтобы успеть рассказать – о другом... Я знала, что мне не прожить без этих писем. И он знал, мой донор.

Я держу в руках свою книгу... В синем переплёте, как я и хотела. Ту, которую мы делали летом. Далёким летом... когда ещё Мой Клоун был жив... Я начитала тогда стихи на магнитофон. Однажды на рассвете, придя в гости к Гавру. Все свои стихи, которые могла вспомнить... А Гавр перепечатал их на машинке. А потом мы составляли книгу, и редактировали стихи.

Это было такое весёлое время... Сидели на лавочке в скверике у Лермонтова и спорили из-за какой-то точки, или запятой...

Ну, и что, что самиздат? Неважно, что всего в трёх экземплярах. Но ведь – КНИГА!
Моя первая книга. «Еженощное».
Один экземпляр я подарю Ядвиге.

* * *

Ходили с Гавром на Нашу Крышу.
Но кто-то повесил замок на двери башенки, через которую мы проникали на Крышу.
Однажды летом так уже было. Тогда Гавр перепилил дужку замка – и мы вошли.
Но теперь замок был основательный. Тут – пили не пили...
Больше у нас нет пристанища.

* * *

День рождения Гавра.
Забегала днём, подарила ему нежно-сиреневые хризантемы.
...Они потом долго будут стоять у него на столе... уже в засохшем виде, полгода, или даже дольше... из сиреневых они постепенно станут коричневыми... А потом, через много лет, он скажет мне, что те сухие хризантемы пахли подсолнухами... как подсолнухи в его детстве...

* * *

Ходили с Гавром записываться на пишущую машинку.
Единственный магазин в Москве, где (несколько раз в году) можно записаться на пишущую машинку. А года через два-три (ну, даже если и через пять!), получу по почте вожделенную почтовую открытку, на которой будет одна-единственная (но такая долгожданная!) – фраза о том, что очередь моя подошла, и такого-то числа можно выкупить машинку... О, счастье! неужели оно когда-нибудь наступит? И у меня... будет своя собственная... пишущая машинка! И я буду печатать свои стихи на *своей* машинке!..

Очередь, поливаемая дождём, тянется по Пушкинской улице, длинная-предлинная... Как в мавзолей. Зонт, один на двоих, спасает плохо. Забегали на просушку в подъезд.

Станный старинный дом: здесь негде целоваться. Широкие закопчённые окна кухонь выходят прямо на лестничные клетки, из этих мутных окон смотрят на тебя закопчённые, усталые женщины – и ты чувствуешь себя, как на сцене. Неуютно.

А подъездное окно, у которого мы стоим, выходят в грязный дворик с мусорными баками, и над двориком всё то же мрачное небо, обкусанное ржавыми крышами...

Но зато подъезды в то время были без кодовых замков, и в тех подъездах хоть как-то, но всё же можно было согреться...

* * *

Были с Гавром на лито в Сокольниках – в полуподвале ЖЭКа.
На том самом лито, которое ведёт удивительный карлик Симон Бернштейн, на том самом лито, на котором мы и познакомились с Гавром в июне. Тем далёким летом... четыре месяца назад... в другой жизни...

Миша Файнерман читал свои новые стихи тихим, заикающимся голосом... Меня поразило совпадение настроения, интонации и даже некоторых образов, которые были в его стихах и в моих – осенних, привезённых из Крыма. Особенно про старух в старых пальто, бредущих с кошёлками... Я показала ему эти стихи, я как раз их принесла с собой. Он тоже поразился.

Стихотворение Миши Файнермана

Там, где размокли жёлтые дороги,
полные оплывшей осенней грязи,
видишь – под дождём они идут,
старухи в чёрных пальто.
Каждый их шаг – еле слышный удар
старого колокола, или скрип двери,
которая ведёт на задний двор,
полный мусора и вечерней тоски.
С ними вечно чёрные сумки,
старухи шепчут свою молитву:
Господи, сотвори чудо,
дай нам прожить сегодняшний день.

А вот фрагмент из моего стихотворения, написанного в поезде «Симферополь-Москва»,
в октябре этого года:

...Небо —
или пелена тумана,
или тоски
подступает к стеклу,
к глазам,
к вяло сжимающемуся сердцу...
Навряд ли я довезу цветы,
они вянут,
они уже почти завяли...
А вот и знакомый полустанок
с таким нелепым названием —
«Светлая жизнь».
Старуха в мокром ватнике,
с дряхлой кошёлкой
идёт по размытой тропе,
с трудом ступая
старческими кривыми ногами...
Вот и всё.

Пожалуй, с этих старух, пришедших одновременно к нему и ко мне, и началась наша дружба. (Которая продлится тридцать лет.)

От стихов Миши Файнермана у меня всю жизнь будут бежать мурашки по коже... Потому что Миша – настоящий Поэт. О чём бы он ни писал. О чём бы он ни писал, он писал сердцем, своими слезами. Каждая его строчка, самая коротенькая – это живой нерв...

* * *

Только зяблик
перелётный
знает:
рождение, любовь, смерть.

(Потом, через много-много лет, я буду составлять, лепить Мишину книгу, из маленьких и больших сгустков боли... И назову её – «Зяблик перелётный», потому что он сам в своей нерешительности никак не мог придумать ей название...)

* * *

Возвращаясь из лито, зашли к Славе Бачко и Марьяне Тонковой.

Они живут рядом с метро «Сокольники». Они так мило повстречались мне осенью, в Крыму, на дорожках пустынного Судака, они были так приветливы со мной, когда мне было тоскливо и одиноко. Они, уезжая раньше меня, взяли с меня слово, что, вернувшись в Москву, я непременно зайду к ним.

И вот мы зашли. Впрочем, я бывала у них и раньше, ещё тем, далёким летом... А Гавр у них впервые.

Гавр, живущий по-спартански и любящий простоту, усмехнулся, увидев мелкобуржуазную обстановку их дома: пышную кровать с высокой деревянной спинкой, изысканную мебель с гнутыми ножками, мраморный камин и прочие приамбасы. Но мне было наплевать на всю эту декорацию. Главное, что Слава любил тех же поэтов, что и я: Мандельштама, Цветаеву, Сашу Чёрного. Они были запрещены в то время, но у него было много старых изданий, ещё дореволюционных, и он мог читать своих любимых поэтов хоть целый вечер, вышагивая по квартире, – большой, толстый, в висячем на нём мешком свитере, такой смешной немножко и очень уютный, очень домашний. Марьяна в это время могла шепнуть мне: «Я пойду приму ванну, а ты посиди, пожалуйста, послушай. Ему нужен слушатель. Спаси меня хотя бы на один вечер!..»

А ещё Слава обожал Василия Розанова, у него была потрёпанная книжечка «Опавших листьев», которую он нашёл у букиниста, и был безмерно счастлив своей находкой, и он зачитывал нам оттуда свои любимые места... Именно от Славы я впервые услышала имя Розанова. За это я ему была очень благодарна. За это я ему прощала гнутые ножки столов и диванчиков в их доме. Я не принимала их, эти манерные ножки, всерьёз. Я считала, что это у Славы игра такая. Должен же он был на чём-то отдыхать от своей тяжкой работы.

А работал он в отделе писем «Литературной газеты», куда в те годы (как в очаг справедливости) писали жалобные и гневные письма читатели со всей необъятной империи... Обо всех несправедливостях и ужасах совковой жизни. И Слава с утра до вечера это читал и, если б он так рано не облысел, то у него бы волосы вставали дыбом. И отвечать ведь что-то надо было на эти вопли и стоны человеческие!..

Ну, необходимо при такой работе иметь какое-то отвлечение! Мог бы и запить. Но не запил. А ходил по букинистическим и антикварным магазинам. Любил старину. Старина его лечила от ежедневного производственного стресса. Старина помогала сбежать – хоть на время – из унылого сегодня. Через старину он уходил, убегал, погружался в другую эпоху, которую любил всем сердцем, – в эпоху Серебряного века... И у себя дома он устроил как бы маленький салон Серебряного века, со всеми возможными атрибутами.

А в камине у них не было огня, а лежали горой книги...

* * *

Студия пантомимы Анатолия Бойко. Я долго не была здесь, набираясь сил.

Потом пришла. Сидела, смотрела... Понимала, что – прощаюсь. Прощаюсь навсегда. Теперь, когда Моего Клоуна уже не было, – его слова: «Не надо тебе этого. Ведь ты – поэт, занимайся своим делом», – теперь это звучало для меня явственно и однозначно. Мне не с кем было спорить. И причины для спора, вроде, уже и не было...

Весь прошлый год я бежала сюда, как на праздник. Я готова была репетировать сутки напролёт! И вот... уйду, не дождавшись конца репетиции, потому что душа моя изнывает от скуки и тоски. (Может, оттого, что никого из моих друзей тут больше нет?..)

* * *

Теперь, я чувствовала, выйти на цирковую арену, – выше моих сил. По крайней мере – сегодня, сейчас. Я не могла даже пройти по Цветному бульвару...

Но, может, отболит – и опять потянет?..

* * *

Так же, как ещё недавно на Цветной, меня теперь тянуло на Ваганьково.

– Пожалуйста, не ходи туда так часто. Не ходи туда хотя бы вечером, – просил меня Гавр.

Но я ходила вечером. Поздно вечером.

Там, слева, я знала, – не запирающаяся до ночи калитка... Меня встречал пёс, огромный, лохматый, какой-то кладбищенской породы. Он узнавал меня и не лаял. Он шёл со мной во тьме, молча, до угла церкви Воскресения.

Дальше я шла сама. Очень деликатный пёс.

Я не могла приходить сюда днём. Это было невыносимо. Одна из самых людных аллей. Почти всегда – толпа любопытствующих: «А он тебе кто, девочка? Отец? Брат? Родственник?» – «Да, отец. Да, брат. Да, родственник». Но чаще просто отмалчивалась.

Но однажды меня припечатали, пригвоздили таким словечком!.. После того раза я и стала ходить сюда только поздно вечером. Кладбищенский пёс не мог меня обидеть так, как обидел человек. У него, у этой лохматой псины, была добрая душа. И я благодарна ему за понимание. Хотелось – тогда, в те вечера на Ваганькове – только одного: поскорее стать старой. Глубокой-глубокой старухой... Чтобы иметь возможность приходить сюда при свете дня. «Кто он тебе, бабушка? Сын?..»

* * *

пустыня...

украшенная гирляндами улиц

упоительной каруселью дождя

лучезарным плачем

скрипок и младенцев...

пустыня...

щедро напоенная

встречами и поцелуями

не нашими с тобой —

а совсем других людей...

немилосердный зной

остановившегося времени...

пить!..

О, как меня ругал за эти стихи Долматовский!..

– При чём тут пустыня?! – кипятился он. – Откуда взялась тут пустыня?!

Кто-то из ребят нашего семинара попытался защитить меня:

– Евгений Аронович, пустыня – это же город!

– Город?.. Тогда при чём тут пустыня?.. И опять же: где знаки препинания? Да, вижу: кое-где есть, но почему не везде, как положено? Вы что, демонстрируете свою безграмотность?

– Да нет. С грамотностью у меня всё в порядке.

– Тогда в чём дело?

– Они в стихах не всегда нужны. Они иногда просто мешают.

– Кто?

– Знаки препинания.

– Господи, ну что за чепуху вы несёте?! Когда это знаки препинания кому-то мешали? Я вам как профессор литературы говорю: кончайте ваши выверты! Иначе мы с вами никогда не подружмся...

* * *

...Той осенью мне приснился сон...

Приснилась осень, ночь... и я мечусь по городу... город совершенно реальный – это московские улочки, бульвары и переулки в районе Старого цирка... И я знаю, что я должна успеть, предупредить Моего Клоуна о том, что с ним может произойти несчастье... Пустынные ночные улицы, чёрные окна, чёрные подворотни... чёрные деревья... чёрные мостовые... кажется, моросит дождь... А его нигде нет! нет!.. И я в ужасе, что истекают последние минуты, когда ещё можно успеть, предупредить...

И вот, совсем уж отчаявшись, бреду устало по какому-то кривому переулку... И вдруг – навстречу мне он! Идёт, улыбается... Господи, как же ему сказать, как намекнуть о том, что его караулит смерть?! И вдруг понимаю, что *это* уже произошло... уже случилось... Как я это поняла во сне? не знаю... И вот он идёт, улыбаясь, мне навстречу, а меня разрывает боль... и всё равно счастье – что я вижу его!

Он подходит. Такой радостный весь... И я вижу, что он рад, рад нашей встрече! Но я не могу понять, знает он о том, *что* с ним случилось, или нет... и должна ли я ему что-то объяснять, или нет?.. Но в следующую минуту понимаю, что ничего не должна.

Он говорит:

– *Тогда* я не любил тебя. Но *теперь* понимаю, что ближе человека у меня не было...

Я проснулась. Сердце моё колотилось... Я была счастлива. Я пережила реальное, абсолютно реальное свидание!.. И была благодарна ему за эту светлую встречу среди ночной осенней тьмы... Теперь у меня были его слова, которые будут утешать меня долгие годы и дарить надежду.

Глава вторая. После конца

* * *

Моя рука
устало ворошит
рассыпанные по холсту пустоты
обугленные лепестки
вечернего света...
Надвигаются сумерки...
Что же будет теперь —
после конца?

* * *

Заходила в студию пантомимы к Гедрюсу Мацкявичюсу.

Все наши тут: ушли от Бойко к Гедрюсу. Толик Бочаров, Валька Гнеушев, Ольга Тишлер и Наташа Дюшен. Людочка Коростелина тоже тут. Но что делаю тут я?..

Гедрюс с горящими глазами говорит о концепции будущего театра... Театра пластической драмы. У него ставка на коллектив, на большие спектакли...

А я – одинокая волчица. Если я пойду в театр к Гедрюсу, я уже никогда не сделаю *своё*. О своём надо будет забыть.

А ведь *моё* живёт во мне, и когда я приду в себя, когда я «перетоскую» и вернусь к себе – я ведь должна выйти на цирковой манеж! Ведь там теперь никого не осталось. Он пуст... Там остались одни комики, и ни одного трагика. После того, как ушёл Мой Клоун...

«Клоун с осенью в сердце...» – так его называли чехи, в 1964 году, на Международном конкурсе клоунов в Праге, где его признали лучшим клоуном мира... Всего лишь восемь лет назад это было. Но всё – в прошлом... Лучшего клоуна больше нет.

А в Праге его по-прежнему любят, я слышала... Ещё я знаю, что в Праге растёт его маленькая дочка. Это хорошо, что у него есть дочка. Наверное, она похожа на него... девочки часто похожи на своих отцов. Когда-нибудь... может быть... я поеду в Прагу, он любил Прагу, после Москвы это был его самый любимый город... пройду по улочкам, по которым он любил бродить... и случайно встречу девочку с *его* глазами... я сразу узнаю её. Я окликну её «Барбара!» – и она обернётся...

Нет, никогда я не поеду в Прагу, и незачем себя этим тешить. Кто меня пустит в Прагу? с какой стати?! Размечталась!..

* * *

Я числилась на заочном отделении и не должна была отбывать институтскую повинность ежедневно. Только раз в неделю, по вторникам, нужно было посещать творческие семинары.

Плюс к этому надо было работать. Обязательно. И приносить об этом в институт регулярно справки, ибо не трудящийся не достоин был обучения на заочном отделении.

А на дневное отделение москвичей не брали. Нам, москвичам, было сказано: «Вы и так в столице живёте, можете пользоваться всеми благами культуры. А нам надо приобщать к культуре людей из провинции». Так что на дневном отделении учились только иногородние. Да я и не хотела опять на дневное. Мне было достаточно одного года в Полиграфическом институте. Сидеть изо дня в день на лекциях – зачем?! Если можно взять книгу и прочесть.

Но был один кошмарный предмет, который изучить я не могла в принципе, – это был научный коммунизм. Для меня это – как китайская грамота: все эти километры заумных словес непонятно о чём... Осенью, на установочной лекции, помню, преподаватель начал так: он взял стул, грохнул им оглушительно об пол, всеми четырьмя ногами, и крикнул в зал:

– Это – стул! Я в него верю! А бога – нет!

Это было дико смешно. И глупо.

Далее он заявил, что в этом и заключается принцип научного коммунизма. Можно верить только в видимое и осязаемое. Всё остальное – чепуха!

* * *

Неожиданно нашла работу. В милиции. Вернее: на пульте автоматизированной охраны, который приписан к милиции. Удобно: сутки работаешь, трое суток – дома. Точнее – вне дома. Потому что дома – упрёки:

– Ты что, мать похоронила? – плачет мама. – Я уже не могу видеть твою похоронную физиономию! Господи, какая же я несчастная... (она плачет навзрыд.)

– Это *ты* несчастная? – удивляюсь я.

– Да, я! Я несчастная! А думаешь, мне легко? Думаешь, легко с тобой? Думаешь, легко видеть это всё?..

* * *

Это был самый мрачный день этой осени.

Как же я ненавижу ноябрь! Мерзкий месяц. Тупик года. Мрак, слякоть, хлюпанье под ногами и в воздухе... а воздуха нет, есть сырая вязкость, серый, мутный кисель... и этим надо дышать, это надо заглатывать в себя... ненавижу! И – ни лучика, ни проблеска, ни малейшего намёка на возможное воскресение... И это «чавк», «чавк» под ногами... Черно. Беспросветно...

И вот в такой день мы шли с Веней Волохом, моим знакомым из сокольнического литобъединения, навещать в психушке гениального художника Васю Ситникова. Всё-таки его упекли. Кто-то наступал, как на тунейдца. Могли упечь и за решётку, но «пожалели убогого». Что взять с сумасшедшего? Всё свои церкви рисует да голых баб.

Вася и в самом деле выглядел нездоровым, каким-то вялым, заторможенным. Он и в жизни-то не очень весёлый и жизнерадостный, а тут и вовсе погрузился во мрак, под стать погоде за окном, и в его мутном взгляде отражался этот беспросветный день... «Выпить, ребята, хочется! Сил нет... Чего-нибудь принесли?» Веня-то принёс в своём портфеле, но передать не было никакой возможности, ибо свидание наше проходило, как в тюрьме, под цепким приглядом медбратьев. Разговор не клеился. Говорить было не о чем. Точнее – невозможно.

– Сволочи, накачали лекарствами! – ругался Веня, когда мы вышли из этого мрачного места. Кстати, оказалось, что он всё-таки ухитрился оставить Васе то, что принёс «для согрева души». Даже я не заметила, как он это сделал. – Так они и в самом деле сделают из него идиота! Господи, был бы он евреем, уехал бы уже давно из этой сволочной страны! Не повезло человеку с национальностью... А вы? надумали ехать? Я уже всё, отчаливаю отсюда... не могу больше вас ждать.

(Веня, ещё летом, предлагал мне фиктивный брак, чтобы я, которой тоже «не повезло с национальностью», под прикрытием мужа-еврея могла выехать из СССР.)

– Только Васю и жалко оставлять тут одного, – говорил он с горечью. – А так – ничего не жалко... А вы? что вас тут держит? Посмотрите, какой мрак вокруг... какая тоска! Нигде в мире нет такого мрака. Неужели вам не хочется солнца, жизни?

– Я не могу.

- Чего не можете?
- Уехать.
- Патриотизм заел?
- Просто не могу расстаться с теми, кого люблю. И с Ваганьковым.
- Да, Ваганьково не увезёшь... Значит, это окончательное ваше решение? Жаль, жаль...

А я искренне хотел вам помочь. Сопроводить, так сказать, вас до Вены. Но насильно человека счастливым не сделаешь, это уж точно. Значит, еду один. Стало быть – прощайте...

И он уехал. В Вену, а дальше – в Израиль, где его ждали родители. Работу они ему там тоже уже присмотрели – ту же, что и здесь: преподавать начертательную геометрию. А свои поэтические опыты Веня не принимал всерьёз, хотя сочинял неплохие стихи (под Цветаеву), и познакомились-то мы с ним именно в лито. Но он не считал поэзию главным делом своей жизни, а русский язык – единственным, на котором он может говорить.

И больше мы с ним никогда не виделись... Завидую людям, которые могут начать всё сначала. Уехать вот так – без оглядки. Я же, как жена Лота, вечно оглядываюсь... И если бы даже решилась уехать, то никогда не была бы счастлива, потому что превратилась бы в соляной столп. А может ли быть счастлив соляной столп?..

Прочла где-то: древние славяне ощущали прошлое не как события, которые далеко *позади*, – а как то, что далеко *впереди*. И, удаляясь от прошлого сколь угодно далеко, – они при этом постоянно видели его *перед собой*.

Это и про меня. И я так же...

А если, к тому же, учесть, что с годами у человека развивается дальноркость...

Потом, года через три, уехал и Вася Ситников. Всё-таки уехал. Сначала в солнечную Европу, потом – в солнечную Америку... И прожил там ещё довольно долго.

...И когда я наткнулась однажды на крошечную заметку в газете о том, что в Нью-Йорке умер знаменитый русский живописец Василий Ситников, я ощутила глубокую грусть. И вспомнила его маленькую, однокомнатную квартирку-мастерскую в районе метро «Семёновская», всю сплошь заставленную полотнами, на которых – храмы, храмы... скрипучие снега... искристый иней... А на листах ватмана – прекрасные, обнажённые полубоги, сжигаемые неземной страстью... И его самого – всклоченного, с диковатым взглядом исподлобья, в расхристанной клетчатой рубашке...

И тот мрачный день ноября 1972 года я тоже отчётливо вспомнила.

Был ли он счастлив, уехав из России, я не знаю. И никто мне об этом не расскажет. А картин, нарисованных Васей там, на солнечной чужбине, я не видела...

И тогда я стала искать о нём хоть что-нибудь в Интернете. И узнала, что в последние годы он рисовал постоянно один и тот же сюжет: бескрайнюю степь, мутную, туманную... и в этом тумане, не находя пути, блуждали странные человечки...

И мне стало ещё печальнее. Потому что я поняла: он рисовал себя, свою душу, потерявшую родину, но в обрётённой свободе не нашедшую ни солнца, ни счастья...

* * *

Мои дежурства на пульте автоматизированной охраны.

Передо мной – табло с то и дело загорающимися лампочками... Когда лампочка загорается – раздаётся неприятный воющий звук, схожий с воем сирены. Это означает, что кто-то куда-то лезет: вор – в магазин или в квартиру, наркоман – в аптеку, бандит – в школьный кабинет военной подготовки, или ещё что-нибудь в этом роде.

Чаще всего сирена взывает, естественно, по ночам. И, вскочив с продавленной, скрипучей, как разошедшаяся лодка, раскладушки, нужно немедленно звонить в милицию и высылать наряд на «объект», – выслушивая в ответ феерическую ругань: ибо милиционер – тоже человек, и, как каждый человек, ночью хочет спать...

Редко бывали ночи спокойными. Редко никому ничего не было надо. Но, в любом случае, ночи на пульте были не для сна...

Лежу в скрипучем, продавленном гамаке, укачиваемая осенней полуночной тоской... В комнате – полумрак, горит лишь одна настольная лампа, прикрытая платком, отбрасывая на потолок огромную тень, похожую на толстого паука. Я гляжу на него, и меня неприятно знобит...

Звонок. Телефонный. Не вставая с гамака, дотягиваюсь до трубки:

– Пульт!

– Не спишь? – слышу в трубке тёплый голос.

Да, это звонит он, Гавр. Каким-то непостижимым чутьём обладает он – там, на другом берегу океана. Каменного океана, громоздящегося между нами: между районом у метро «Войковская», где находится мой пульт, и «Семеновской», между моим бессонным окном – и его... Он, мой донор, всегда чувствует, когда мне особо плохо.

И так же, как осенью в Крыму я ждала его писем, так же жду этих за полночь звонков...

– Как дела на пульте?

– Как обычно. Тоска.

– Хочешь, стихи почитаю, только что написал?

– Хочу.

Он читает про Крышу. Про нашу Крышу. По которой мы бегали когда-то... ещё недавно... когда это было?... Когда-то – совершенно нереальным – невозможным – невозвратным – летом...

Про нашу Крышу. Которая заперта теперь на тяжёлый висячий замок. Ах, Боже мой, да разве в замке дело? Тяжелее ржавого замка – 25 июля – день ухода Моего Клоуна. Тяжелее замка – короткое имя Анка...

«Чтобы не страдать от одиночества, человек должен жить один». Первая фраза романа, который я хотела написать этой осенью. Но, написав первую фразу, поняла, что добавить к сказанному – нечего.

Вечер... совсем темно. Сотни тёплых разноцветных окон смеются мне в лицо...

Неужели? – думаю я, – неужели?... в каждом окне живёт одиночество? И мне становится страшно.

Толстый паук на потолке неприятно шевелится... Б-р-р!.. Приходится сказать себе: просто это сквозняк колышет платком. Просто сквозняк...

Один приятель, на днях, сказал: «Слушайте, я тут кое-что написал, вроде как начало повести. Или пьесы. Два персонажа. Один говорит другому: «Вы говорите, я веду плохую жизнь? Я не веду никакой жизни. Я веду смерть».

Я лежу в дырявом гамаке. Холодно. Зима. Вы говорите, я веду плохую жизнь?... Звонок.

– Пульт!

– Деточка, вы не спите?

Я узнаю её старческий бодрящийся голос. Это – Лидия Андреевна Русланова, та самая знаменитая певица Русланова. Её квартира – у меня на пульте, другими словами – на автома-

тизированной охране. Эта старая женщина звонит мне по ночам. Она ни на что не жалуется. Она не рассказывает мне жутких лагерных историй. (Я только недавно узнала о том, что она, народная любимица, после войны была репрессирована. И сидела. Одиннадцать лет!)

А сейчас ей уже за семьдесят. И у неё бессонница... Многолетняя хроническая бессонница, с которой не могут справиться никакие лекарства. И ей не с кем поговорить в эти бессонные ночи. И она звонит мне, зная, что я не сплю по долгу службы. Звонит, чтобы услышать человеческий голос в этой глухой ночи...

– Деточка, вы не спите?

– Не сплю.

– Может, поболтаем?

И так мы с ней болтали по ночам, не подозревая, что это – последний год её жизни. Не признаваясь в том, мы друг другу немного завидовали. Она – моей молодости, тому, что у меня всё ещё впереди... А я – её старости, тому, что у неё всё уже позади – все утраты и страдания. И впереди – только одно испытание, одно-единственное... но последнее. Она жаловалась на память, на то, что многое стала забывать. А я – страдала из-за того, что слишком хорошо всё помню, что не умею забывать.

В одну из тех ночей я написала своё самое грустное стихотворение, оно уместилось в две строчки:

Я старости хочу, склероза,
Спасительного, как наркоза...

Вообще-то, она жила с компаньонкой, то та иногда уезжала к родственникам, и тогда на старую певицу нападала тоска.

...Я слушаю её надтреснутый голос и вспоминаю, как задорно пела она когда-то народные песни, особенно про валенки, «которые не подшиты, стареньки», но это не мешало влюблённой девчонке из песни бегать к милому на свидания...

У Лидии Руслановой была всенародная слава, но она никак не грела эту старую одинокую женщину. Слава была сама по себе, а она со своим одиночеством – сама по себе...

В ту осень, в ту зиму – и ещё долго – в Москве не существовало телефона доверия. Мне звонила по ночам не только эта одинокая знаменитая старуха. Звонил ещё один старик. И ещё один... Всех теперь уже и не вспомнить... Им хотелось, чтобы кто-то их выслушал. И сказал бы тёплое слово в ответ...

Рядом с лампой – бумага и карандаш, так, на всякий случай, вдруг что-то придёт в голову... Но ничего хорошего не приходит. И я пишу про этого паука на потолке, пишу – чтобы как-то освободиться от него, от этого знобящего чувства: вот он переселился на бумагу, и мне уже не страшно.

* * *

тень от лампы
похожа на паука
толстого и неподвижного
я смотрю на него
и меня неприятно знобит...
гашу лампу
долго сижу в темноте

и думаю о том
что моя жизнь одинока и грустна
и так будет всегда
никогда у меня не будет
ни семьи, ни детей
ни любимой работы...
и я молю своё одиночество
своё молчаливое доброе божество:
не дай мне забыть
о той непоправимо короткой
странно сверкнувшей жизни
и дай силу
дай силу
прожить воспоминаниями о ней —
и не желать ничего лучшего...

Загустевая в образах, отделяясь от меня, материализуясь в словах, таких вроде обыденных, — моя тоска словно бы возвышается надо мной (лежащей «калачиком» на дырявой раскладушке, под негреющим одеялом), возвышается надо мной неким парящим в сумерках зимней ночи ангелом...

Ангел, глядящий на меня горьким взглядом, парит надо мной... и вот уже моя душа, отлепившаяся от дырявого гамака, от озябшего тела, — парит рядом с ним... ещё тяжело и неуклюже — вроде и не летала никогда прежде, с трудом вспоминая ощущение полёта...

Звонок!

— Пульт!

— Вы не спите, деточка?

Деточка не спит, деточка отращивает новые крылья. Только бы не шмякнуться опять на этот дырявый гамак...

Шмякнусь. Ещё не раз шмякнусь!

* * *

Зима началась 13 ноября. Навалило столько снега!.. Мы с Каптеревым идём в цирк, я хочу познакомить его с Ядвигой. Он обожает цирк.

Странно... цирк на Воробьёвых горах — тоже цирк. Но я сюда иду без страдания. Потому что Мой Клоун здесь никогда не выступал. Этот цирк для меня — *другой* цирк. Это — цирк Ядвиги Кокиной, *живой* цирк, одушевлённый присутствием прекрасной синеглазой женщины, её улыбкой...

У цирка нас обещал ждать Гавр, он хотел передать мне свои новые стихи. Но — почему-то не пришёл. (Позвонив ему после спектакля, я узнала, что именно сегодня, 13 ноября, у него родился сын.)

...А Ядвига нам помахала приветливо с высокого мостика...

А потом мы зашли к ней в гримёрную, пообщались, и Каптерев подарил ей свою картину. На картине был цирк. Ядвига сказала, что очень любит живопись, она была искренне благодарна и удивлена таким шикарным подарком. Над её гримёрным столиком уже висело несколько милых акварелей. Ядвига тут же стала искать место и для каптеревской картины...

Шли к метро втроём, мела самая настоящая метель, было похоже на глубокую зиму... Наконец-то белизна прикрыла мрак этой осени, и сразу стало легче на душе. А Ядвига гово-

рила о том, что у неё есть мечта – иметь собственную машину. Для того времени эта мечта была совершенно несбыточной. Машины в то время имели только большие начальники, писатели крупные, знаменитые режиссёры, ну, ещё какие-то богатые люди, которых было не так уж много. В очереди на машину люди стояли годами, и полжизни копили на неё деньги, поэтому за рулём были люди уже немолодые. Женщин за рулём вообще не было. А простая циркачка лелеяла такую дерзкую мечту! Это было равносильно мечте слетать в космос.

– Зачем тебе машина, Ядя? – удивилась я. (Мы с ней были уже на «ты»).

– Люблю скорость! Ах, как бы мне хотелось лететь по прямому, как стрела, шоссе!.. Чтобы ветер свистел!.. Чтобы спидометр зашкаливало!.. Больше ничего в жизни так не хочется, как лететь на безумной скорости по прямому шоссе...

Ей хотелось улететь от своей тоски, улететь в те края, где тоски уже нет. Как я её понимала!..

* * *

Конечно, они дали сыну совсем не то имя, о котором я просила.

Впрочем, мне-то что до этого? Не моё это дело – давать имена чужим сыновьям...

* * *

Я не просто так пришла. Меня позвали. Посмотреть на их сына. Но мне было трудно идти одной, и я взяла с собой Маришку.

Два лёгких детских имени – Анка и Санька... две пары глаз: карих и серых... И этот плюшевый заяц в углу дивана, и эти ползунки над головой, когда мы сидим у него (у них!) на кухне и пьём чай... Вчетвером. И оживлённо общаемся. Мне показывают тетрадку со смешными Анкиными словечками, я читаю, смеюсь...

Нет, никогда у меня не будет детей! Никогда! Как неприятен этот плюшевый заяц в углу дивана, какое бессмысленное, тупое у него лицо. Как неприятны эти болтающиеся над головой ползунки, представляю, что за удовольствие стирать их... О Господи! и сидеть за одним столом, и пить остывший чай, и знать – определённо знать – что всё – ложь. Улыбки... Слова... Даже этот ни в чём не повинный плюшевый заяц...

* * *

В Литинституте.

Отношения с Долматовским накаляются. Он меня не воспринимает. Он швыряет мои стихи, так что они летят на пол, и кричит:

– Никто не докажет мне, что это – стихи!

Мы без конца спорим. По каждому поводу. И без повода. Он кричит:

– Ты – стерва, как моя младшая дочь! Такая же упрямая, как она! Вы вечно спорите!

Я – стерва?... Интересно, в чём же заключается моя стервозность? В том, что имею своё мнение и пишу стихи так, как хочу?... Любопытно, чем сего почтенного мужа достала его младшая дочь?... Хотелось бы посмотреть на неё – на мою «коллегу» по несчастью. Он говорит, что мы даже внешне похожи. Вот, у них там какие-то свои семейные разборки, а он потом вымещает всё на мне... Да... а когда-то он был моим любимым поэтом. Хотя я даже имени его не знала тогда. Я была слишком мала, чтобы запоминать такие сложные фамилии, мне было года четыре в ту пору, и я с упоением напевала:

«Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны,
И зеленеть среди весны...»

Мне казалось тогда, что эта уютная, тёплая песня – про мой родной город Днепрпетровск, про мою любимую Философскую улицу...

А потом я полюбила и другие его песни, например – «Ночь коротка». Чудо как хороша! Такая прозрачность и хрупкость *неназываемого*... Ничего, вроде, о любви не сказано, но каждое слово – о любви.

Ночь коротка...
Спят облака...
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука...

Много, много, всё не перечислишь. Хотя много и другого – такого, сугубо советского. Он, как Маяковский, то и дело наступал на горло своей песне. Многие наступали себе на горло. Чтобы выжить. Но для меня он был по-прежнему автором «Любимого города». И когда к нему в творческий семинар попала, то обрадовалась, думала: «Родная душа!»

И вот как всё обернулось... Хоть институт бросай! На первых же семинарах у Долматовского я для себя решила, что не продержусь здесь долго. И только слёзы мамы, которая уверяла, что не переживёт моего ухода из института, удержали меня от того, чтобы забрать документы ещё до первой сессии.

Мама, что-то почувствовав, сказала тогда твёрдо: «Если ты бросишь и второй институт, у меня будет инфаркт. Запомни!»

Значит, придётся домучиваться... Впрочем, в конце второго курса – творческая переаттестация. Старшекурсники говорят, что после неё отсеивается где-то половина. На первом курсе – сто человек. После переаттестации остаётся около пятидесяти. Представляю, какую характеристику напишет мне Долматовский! Уж он-то напишет... К примеру, так: «Стерва эта Романушко! Глаза б мои её не видели!»

Сказал бы нам кто-нибудь тогда, что через два года такого яростного взаимоотталкивания... мы подружмся! Да-да, мы подружмся!

Но – зачем-то надо было пройти через полосу грызни, взаимных обид и непонимания. Надо было выстрадать нашу будущую дружбу.

Через много лет я напишу рассказ, он будет называться «Двое на дне дождя», где опишу всю нашу историю – и как он кричал на меня, и как швырял мои стихи, и как критиковал меня по поводу и без повода, цеплялся к каждому моему слову, и как однажды, не выдержав, я встала на семинаре и сказала: «Заберите свои слова обратно!» И как он опешил... А я сказала: «Я жду». И через какую-то огромную паузу он бросил мне в лицо: «Ладно! Беру! Ты довольна?» «Я довольна», – сказала я и села. И как мне потом ребята говорили после семинара: «Ну, можешь идти забирать документы! Лучше самой уйти, всё равно он тебя съест». Но, как ни странно, именно этот случай стал поворотным в наших отношениях: он во мне увидел человека. Человека, которого можно уважать. Ну, а потом уже был дождь, и наше общение – как на дне океана – общение взахлёб... И радостное осознание того, что мы давно уже не враги, а друзья, и даже больше: в его глазах я читала отеческое тепло, и было столько заботы и доброты в его словах, как будто я – его любимая дочь. Как будто своих трёх дочерей ему мало, и вот, он решил удочерить ещё одну – меня...

Но до того времени было ещё далеко... А пока мы ругались и кусались. Кусались и ругались...

«Никто не докажет мне, что это стихи!» – кричал он.

Да я и не стремилась никому ничего доказать. Действительно: что общего у поэзии с кровоточащей раной? С переживанием смерти?.. Тут не до сладкозвучных рифм, не до знаков препинания...

Почему-то именно это (отсутствие рифм, размера и знаков препинания) больше всего выводило из себя моего творческого руководителя.

– Так писать нельзя!!! Что это ты мне подсовываешь?!

Я «подсовывала» свою душу. Больше у меня ничего не было.

* * *

А как «надо», как «положено» писать – кто это установил?.. Где эта – спущенная с небес – Инструкция?..

В сумерках той (уже давней зимы) я познала другое – более важное, чем вымышленные кем-то законы стихосложения: Господь дал нам свободу. Жить – и умирать – и в муках отрапцивать ампутированные крылья...

* * *

Трудно, тяжело, когда творческий руководитель относится к тебе так непримиримо. Можно даже сказать – агрессивно. Но – не я первая, не я последняя.

Говорят, в Литинституте существует печальная статистика. На первом курсе обучаются, в основном, поэты. Процентов пятьдесят, или даже больше. Процентов тридцать – прозаики. Десять процентов – драматурги. И где-то по пять процентов – критики и переводчики. Но к пятому курсу поэтов почти не остаётся. Они перестают писать стихи! И уходят. В прозаики. А ещё больше – в переводчики. А ещё больше – в критики. А самые несговорчивые отчисляются из института за «творческую несостоятельность».

Но зато те, которые доходят до выпуска поэтами, – они постепенно становятся «правильными» поэтами. Они принимают условия игры: и начинают писать как надо и о чём надо.

Мне поведала об этой печальной статистике одна из старшекурсниц. Которая тоже поступала в институт как поэт. А теперь писала критические обзоры в журнал «Знамя», который был по соседству с институтом, и многие студенты подрабатывали в нём.

– Я уверена: ты тоже скоро бросишь стихи! – сказала мудрая старшекурсница. – Переходи на переводческое, пока тебя не вышибли. Переводчики хорошо зарабатывают – лучше поэтов. Или переходи на критику, критики везде нужны, так что без куска хлеба не останешься.

Но на переводческое я переходить не собиралась. Мне это совершенно не интересно: повторять за кем-то чужие слова и мысли! У меня и своих собственных мыслей достаточно.

А уж на критику переходить... Это как-то совсем скучно и унизительно.

– Да лучше пусть меня вышибут на переаттестации! – сказала я.

– Ну, и глупо! – сказала мудрая старшекурсница. – И что и кому ты этим докажешь?

* * *

Я тоже как-то заглянула в это уважаемое издание – в редакцию «Знамени», где многие наши так хорошо «паслись». Оставила в отделе поэзии свои стихи.

Как оставила – так благополучно и забрала через две недели. Мне объяснили, что стихи мои не современны, не актуальны, в них нет примет сегодняшнего дня. Сказали, что, кроме моего грустного настроения, они ничего не отражают. А это не может быть востребовано широким читателем. Удивились, что я, с такими упадническими настроениями, являюсь студенткой

Литинститута. Посетовали на то, что в институте мне до сих пор никто не объяснил, как надо писать и о чём...

* * *

Кстати, почти все на нашем семинаре очень быстро вступили в коммунистическую партию. Это было как-то естественно. Помню, как в приветственном слове нам, первокурсникам, ректор говорил:

– Вы – работники идейного фронта! Не забывают об этом!

Большинство прониклось этой мыслью и торопливо пополнило собой ряды КПСС. Каждому было ясно: без красной корочки не будет карьеры, не будут печатать, не возьмут на работу в издательство.

– А ты почему не вступаешь в партию? – строгим голосом спросил меня Евгений Аронович.

– Не хочу, – сказала я, обескуражив его своим ответом.

– Я бы мог написать тебе рекомендацию, – сказал он.

Я удивилась: с чего вдруг такая «доброта»?

– Спасибо, не надо, – сказала я.

Он был мной недоволен. И удивлён: я не хотела реабилитировать себя в его глазах. Не беспокоилась о своём будущем. Одним словом, вела себя (на его взгляд) совершенно несерьёзно. Если не сказать – вызывающе!

Я уж не стала его шокировать рассказом о том, с каким наслаждением порвала и спустила в мусоропровод свой комсомольской билет. Это было ещё в те времена, когда я работала осветителем в цирке...

* * *

Рядом со мной на творческих семинарах сидел, обычно, Арнольд Вакс, с которым мы познакомились и подружились ещё на вступительных экзаменах.

Мы с Ваксом представляли собой малочисленную, но крепкую оппозицию. И очень действовали на нервы Евгению Ароновичу. Вакс был лет на десять старше меня, у него был величественный библейский облик, он смотрелся на нашем семинаре совершенно чужеродно и держался отстранённо-философично. Мог спокойно, во весь голос сказать, обращаясь ко мне:

– И как нас с вами занесло в этот дурдом? Вы не знаете?..

Евгений Аронович зеленел от этих Арнольдовых эскапад. И не знал, как себя с ним вести. Дело в том, что просто так взять и выгнать его он почему-то не мог. Видимо, по двум причинам: во-первых, Арнольд был сыном погибшего в Отечественную войну драматурга, может быть, даже друга Долматовского. А во-вторых, у Арнольда была старая полоумная мать (кстати, они жили во флигеле института), и эта мать с растрёпанными седыми космами всё время прибегала в институт, узнать, как тут её сынок. Она безумно хотела, чтобы сынок закончил институт и имел официальный статус «писателя», она боготворила каждую строчку, написанную Арнольдом, а писал он страшно много, и она все дни проводила в перепечатывании его гениальных страниц... Эту старую женщину все в институте жалели. Евгений Аронович так и говорил Арнольду:

– Только ради вашей несчастной матери я терплю вас!

Арнольд писал и стихи, и прозу. Не деля свои строки на книги, он писал сплошным потоком – писал жизнь... Подоконники их флигелька были завалены сотнями, тысячами страниц... Это был настоящий эпос. А Вакс был Гомером наших дней. Вот один из его замечательных стишков, который мог бы служить визитной карточкой Арнольда Вакса:

На гениальность я не сетую.
Сам гений, и другим советую.

Через несколько лет я напишу рассказ о нём – «Встреча на бульваре». Но на самом деле о нём надо было бы написать роман...

Арнольд Вакс, где ты? Тебя всё-таки выгнали из института, и мечта твоей матушки не сбылась. А ваш знаменитый флигель, где на каждой двери надо было бы повесить мемориальную доску и устроить там «Музей гениальных нищих русских писателей», этот флигель отобрал себе Литинститут, перестроил его на свой вкус, и там теперь расположены аудитории заочного отделения и высших литературных курсов. А жильцов флигелька выселили на какую-то далёкую окраину, в «спальный район», где, естественно, долгое время в квартирах не было телефонов. И Арнольд исчез из моей жизни. Слышала только, что какое-то время он работал лифтьером – там же, в своём спальном районе...

Арнольд Вакс, где ты? Ни один из наших общих знакомых ничего не знает о тебе. Ни один поисковик не находит в Интернете твоё имя. А где же тысячи страниц, под которыми ломились подоконники в вашем флигельке? Что с ними стало?..

* * *

Ночь на пульте.

Звонок.

– Это я, – говорит Гавр. – Не разбудил?

– Да нет. Не до сна.

– Умер Симон.

Умер Симон... Это – уже глубокая зима...

Наш Симон. Сказочный карлик с умными, весёлыми глазами. Неужели он был карлик? Когда он шёл рядом со мной по улице, он едва доходил мне до локтя... Но я всегда смотрела на него снизу вверх. Да. Именно так: снизу вверх! Это я чувствовала себя маленькой. Нет, я не придумала это потом, после его ухода. Это – правда.

– Он умер в больнице, – говорит Гавр, – кажется, его нечаянно убили: влили взрослую дозу лекарства.

А ведь он был маленький...

Хоронили Симона в детском гробике.

* * *

Никогда больше не будет

ни зимы ни лета ни весны ни осени...

разбилась

– с лёгкостью фарфорового блюдца —

волнующая круговерть времен года...

Всё замерло

как в странной

бессмысленной игре «замри»

Светофоры глядят не мигая

красными

слезящимися от ветра глазами...

замерли стрелки

на часах у перепуганных стрелочников

и сами стрелочники
стоят неподвижно, уставясь в пустоту
из которой уже не придёт
ни один поезд...
И никто никогда не скажет «отомри»
этому
некогда весёлому миру...
холодно

Я плакала, несколько дней тому назад, когда писала эти стихи. Писала, ещё не зная, к кому они обращены на этот раз. Я не успела навестить его в больнице...

У него не было семьи. Его хоронили друзья с лито. Меня не отпустили с работы. Но я передала с Гавром это стихотворение, которое он положил Симону в гроб.

Самым неутешным был Миша Файнерман. Он очень любил Симона.

Он не сможет смириться с уходом Симона и через много лет...

И когда через много-много лет выйдет его, Мишина, первая книга, на первом листе будут стоять слова, свидетельствующие о его преданной любви к этому человеку:

«Памяти Симона Бернштейна».

* * *

Лито продолжало существовать, его вёл Эдмунд Иодковский, но для меня это место утратило притягательность, и последний раз, помню, мы были там с Гавром, когда отмечали девять дней Симону.

Все говорили хорошие слова о Симоне, для многих этот маленький человек много значил. Миша читал своим тихим, заикающимся голосом печальные стихи и едва сдерживал слёзы. Было страшно грустно... Я не могла ни говорить, ни читать. Сидела и вспоминала, как летом мы были все в Доме литераторов на вечере поэзии, и все выступали там, а Симон сидел в первом ряду и, как пятилетний мальчишка, болтал ногами... у него ведь ноги не доставали до полу... И тоже читал, что-то смешное, что-то вроде:

Салатик, компотик,
Халатик, животик...

Все смеялись... и он сам смеялся... он был весёлый, озорной. И очень умный. И умел потрясающе слушать. Когда он слушал других, он весь обращался в слух.

Ему было немного за пятьдесят. За всю жизнь были напечатаны два или три его весёлых стишка – где-то в разделе «юмор». И всё...

Больше его не будет. Больше я никогда не приду на лито. Прости, Симон, но без тебя мне тут нечего делать...

* * *

Мама зачем-то купила билеты в цирк на Цветной бульваре.

Она говорит:

– Чтобы сделать тебе приятное.

Она даже не подозревает, что я почувствовала, когда она, с улыбкой, показала мне эти билеты... Но я умею владеть своим лицом.

Чтобы сделать приятное ей, иду с ней на спектакль...

Наши места неподалёку от моего софита, за которым я просидела целый сезон... Сейчас за ним сидит белобрысый Колька, с которым мы лазили когда-то на купол... Да, я работала в цирке на Цветном бульваре, было и такое в моей жизни.

На манеже – Никулин и Шуйдин. Можно было бы пойти за кулисы и пообщаться, принести Юрию Владимировичу новые стихи, он любит мои стихи. Но нет сил идти туда, за кулисы, где когда-то была гримёрная, на двери которой висела табличка с именем Моего Клоуна... ещё не так давно...

Сижу, сжавшись вся в комок, – только бы не заплакать! И вспоминаю, как осенью, уезжая из Крыма, в последний вечер в Симферополе, в ожидании поезда, гуляла под дождём, и, промокнув и озябнув, пришла к цирку...

Представление уже шло минут двадцать, но касса была открыта, и билеты были. И мне вдруг показалось, что вот, войду сейчас в зал... а Мой Клоун – там, на красном манеже... И не было этого страшного случая по имени «смерть»... так, приснилось что-то жуткое, так бывает. Но на самом деле – Мой Клоун здесь, в цирке...

Скорей, скорей увидеть его! скорей проснуться из этого кошмара!

Покупаю билет. Вбегаю в зал...

А зал хохочет... хохочет над каким-то разрисованным чудачком в манеже, совершенно не смешным... и таким глупым! И я сажусь на своё место, свет гаснет... кто-то там летает в полумраке под куполом, а я сижу и плачу... и даю себе слово, что никогда больше, никогда в жизни не приду больше в цирк, в котором когда-то выступал он...

И вот – я опять в цирке на Цветном бульваре...

Много лет я жила с ощущением, что моя жизнь замкнута в круге. В цирковом круге, тринадцати метров в диаметре. Я не стремилась выйти из этого круга, ибо нашла здесь – всё. Всё, чего может желать человек: любовь, смысл жизни, простор для творчества. И все люди, встреченные мной в эти годы, и все события, происшедшие со мной, оказывались внутри этого круга.

И вот я смотрю на этот круг...

Красный манеж – как открытая рана в моём сердце...

Больно...

Здесь – страшнее и больнее, чем на Ваганькове.

Здесь – Моего Клоуна нет.

А там – он смотрит на меня с портрета, как из окна, и улыбается...

* * *

Перед новым годом я всё же решилась и написала Гавру письмо с одной просьбой: «Не звони больше». После чего он тут же позвонил и уговорил встретиться. Хотел посмотреть мне в глаза: правду ли я сказала? Буквы на бумаге могли соврать, глаза – нет.

Мы стояли на морозе у метро «Речной вокзал» и плакали. Ну что, что я могла сказать ему? И что он мог сказать мне? Всё было слишком ясно...

Прощай, Гавр! Спасибо тебе за всё. За твои стихи, за наши летние гуляния по крышам и бульварам... За то, что ты водил меня за руку на вступительные экзамены в Литературный институт. За то, что познакомил меня с Каптеревыми. За твои письма в Судак... Спасибо за то, что издал мою первую книгу. Но дальше... Что дальше?

У тебя – твои дети. У меня – Мой Клоун. Наша жизнь устроена. В ней всё уже определено. Ничего не изменить...

Моё сердце разрывается на две части. На того, кто ушёл. И на того, кто никогда не придёт.
Вот такая история...

Глава третья. Притяжение очага. Каптеревы

Но был в этом огромном холодном мире дом...

Был Дом!

И два светящиеся тёплым светом окна...

...Я шла по улице Огарёва, бывшему Газетному переулку, шла в сторону Тверской и всё оглядывалась на дом, где на лоджии второго этажа стоял он – Валерий Всеволодович Каптерев – и махал мне вслед рукой... Он махал мне до тех пор, пока мог видеть меня, пока, не доходя до Телеграфа, я не сворачивала во двор, срезая угол... Так было каждый раз. Только зимой, в холода, он не выбегал на лоджию помахать мне вслед. Но во все другие времена года это было традицией – он машет мне вслед, а я иду и без конца оглядываюсь, и тоже машу ему в ответ... И мне кажется, что так будет всегда: он всегда будет махать мне с лоджии...

Но однажды, годы спустя, ему уже было почти восемьдесят, меня пронзило, как иглой: «Господи, а ведь так будет не всегда!.. Вот оглянусь когда-нибудь – и не увижу уже его на лоджии...» И всё во мне тут же восстало против этой страшной мысли: «Нет! ТАК будет ВСЕГДА! Он всегда будет махать мне с лоджии!..»

...И опять он стоял на лоджии и махал мне вслед. А я шла и всё оглядывалась и оглядывалась, и махала ему, и в сердце было горячо и радостно оттого, что я так люблю его, и оттого, что он меня любит.

Я знала, что всю жизнь буду оглядываться на этот дом, на эту лоджию, на эти два тёплых окна...

Так и живу...

* * *

И вот, прошло с тех пор более тридцати лет, и я опять иду по Газетному переулку... он опять носит своё настоящее имя. В который раз я иду по этому переулку, и мне кажется, что трещины в тротуаре под ногами – всё те же, что и тридцать лет назад, и вот эта лужа после дождя у обочины – она всегда была здесь... И, пока я изучаю трещины под ногами и лужи у обочины, пока я не подымаю головы от этих вечных узоров, – я думаю, что вот, сейчас подыму голову – и увижу зелёное буйство на лоджии второго этажа, и – его, с лукавой усмешкой глядящего на меня сквозь ветви ивового деревца, прижившегося на их весёлой лоджии... А в глубине лоджии, за зеленью и цветением, – я увижу два манящих тёплых окна...

Которые светят мне уже столько лет...

И будут светить ВСЕГДА.

А однажды, в конце зимы, шла тут, по этим склизким наледям, вечно тут наледи под водосточными трубами! и вдруг почудилось... – вот сейчас они выйдут из-за угла своего дома, два старых и бесконечно дорогих мне человека, она – в сереньком пальтишке на лебяжьем меху и в серенькой шапочке, фасоном – чалма, а он – в длиннополом, старомодном, кофейного цвета, каком-то доисторическом пальто и в смешной ушанке, старой, потрёпанной, с лихо торчащим в сторону одним ухом... И пойдут, рука об руку, осторожно ступая по нечищеным, скользким тротуарам... Два бесконечно дорогих мне человека.

Бывало (это ещё в прежнюю эпоху – до кодовых замков – когда подъезды стояли нараспашку), иногда заходила в их двор, проходила мимо знакомых мусорных баков – вот здесь

он кормил по утрам голубей, а потом, четыре года, – она... а когда я жила у неё, то голубей кормила я...

И вот, захожу в этот двор – дома №1/12 (в те времена – ул. Огарёва), здесь у мусорных баков вечно кучкуются голуби, которых он когда-то привадил к этому месту утренними кормёжками... Захожу в полутёмный пыльный подъезд, поднимаюсь на второй этаж и стою перед их дверью №44.

Просто стою перед дверью.

И представляю: вот сейчас нажму на кнопку звонка – и услышу за дверью знакомый торопливый топот ног (никогда-то он не мог ходить по дому спокойным, размеренным шагом) и его голос: «Люся! Люся! Я уверен, что это – Романушка!»

Господи, неужели это не повторится? Никогда?!

Как же я люблю их! И тогда любила. И сейчас. Как они дороги мне. Как много они для меня значат. Он и она.

* * *

Мой любимый Дом – дом Каптеревых.

Притяжение тринадцати лет.

Притяжение всей жизни...

Дом, где царили два запаха: запах свежих масляных красок и запах свежезаваренного чая... Где дух парил над плотью. Где каждое слово было драгоценно. Дом, где меня всегда ждали. Откуда никогда не хотелось уходить.

* * *

Меня познакомил с ними Гавр. Ещё летом, когда Мой Клоун был жив...

А второй раз я пришла к ним недели через две, одна. Валерий Всеволодович сам позвонил мне и позвал. Недели через две... Моего Клоуна уже не было...

И они сразу поняли, что у меня что-то случилось. Сразу, как только я вошла.

Он спросил осторожно:

– У вас что-то случилось?..

И я сказала:

– Умер человек, которого я любила больше жизни.

Нет, они не стали причитать надо мной. И выпытывать подробности. Нет.

Они стали поить меня горячим чаем, и он показывал свои новые картины, а она читала свои новые стихи... И всё это было – для меня одной.

И случилось чудо. Я почувствовала, что я – в круге тепла и света...

А я-то думала, что в моей жизни может быть только один круг – круг циркового манежа... и ничего больше, ничего другого.

И я захотела этого тепла, и этого света.

И я попросила Валерия Всеволодовича показать мне картину, которая поразила меня, когда мы приходили сюда, к ним, прошлый раз, большой кампанией. Картина называлась «Вечерний звон». И он с радостью достал её и поставил на мольберт...

И я попросила Людмилу Фёдоровну прочесть стихи, которые так понравились мне в тот, первый раз, и она их прочла.

Вечер пахнет чаем и жасмином,
Лунно полыхающем в саду...

Начинаясь медленно и длинно,
Разговор уходит в высоту...

Так всегда и было. Всегда – в высоту. Или – в глубину. Здесь не было топтания на плоскости.

* * *

Каптеревский круг. А ещё недавно – круг циркового манежа... А когда-то давно – круг шумного двора на Философской улице, где прошло детство... Эти жизненные круги – как диски позвоночника внутри нас. Говорят же иногда: у этого человека крепкий стержень. Но редко задумываются, из чего состоит этот стержень. А состоит он как раз из этих дисков-кругов. Диски не исчезают. Просто ты переходишь в иное измерение жизни – некая сила тебя выносит на новый круг... И все эти круги нанизаны на нечто вертикальное, устремлённое вверх... Может, это и есть линия судьбы?..

* * *

...Летом 1972 года Каптеревы жили у друзей, убежав из своей сумасшедшей коммуналки: Людмила Фёдоровна боялась, что у Валерия случится третий инфаркт.

Чудом он выбил в то лето квартиру. Двухкомнатную квартиру в старом мхатовском доме на углу улиц – Огарёва и Герцена (ныне – это Газетный переулок и Большая Никитская улица).

А потом был переезд. И мы с Гавром принимали в нём участие. Каптерев поручил мне самое ответственное, как он сказал, с чем могла справиться только женщина – паковать хрупкую посуду. Я гордилась. А Гавр паковал в это время с Валерием картины. Валерий, делая заодно ревизию картин, отставлял в сторону те, которые хотел выбросить: просто вынести на помойку. Гавр хватался за голову: «И ЭТО вы хотите выбросить?!» Да, хорошо, что Гавр был в этот момент рядом. Благодаря его воплям, были спасены от выброса многие каптеревские шедевры.

* * *

Каптеревский Дом вобрал в себя целый мир. Этот дом стал для меня идеалом Дома. Дома, который равен Храму.

Лучше всего о нём написала Людмила Фёдоровна:

Как бы это мне построить дом?
Для живого,
без границ объём.
Чтобы из любви моей возник
Дом-дружище, спутник и – двойник.
Молодой,
до нескончанья лет.
Чтобы на столе – цветы и хлеб.
Чтоб сквозили добрые черты
в окнах синеглазой высоты.
Чтобы только – нужные слова,
круглые,
как шар земной,
как вальс,
как «люблю!»,
и как объятье рук,

и как солнца незатменный круг.
Дом живой,
поющий поутру,
Дом жилой,
Дом полный строк и струн,
тайный,
как огонь и темнота.
Дом «возьми!»
и, если хочешь, – «дай!»,
Дом – «останься!»,
Дом – «свободен ты!»
Странный, невозможный дом мечты.
Кровом будь
и – кроною лесной.
Дом, как мир.
И Дом, как дом родной.

И они такой Дом построили.

* * *

А внешние черты этого Дома мечты были таковы.

Её комната. Справа у стены, ближе к окну – скромное ложе – простая раскладушка. Над ней, на стене, каптеревская картина – «Сирень». Сирень буйная, источающая свежесть и энергию жизни... Рядом с раскладушкой, на табуретке – старая пишущая машинка «Олимпия». Перед ней – хлипкий раскладной деревянный стульчик, он мог выдержать только Людмилу Фёдоровну, или меня. Справа от двери – старый, потемневший от времени сервант, он служил вместительным для книг и рукописей. Наверху – несколько фотографий отца Людмилы Фёдоровны – Фёдора Окназова, её матери – тоже Людмилы, картина Валерия «Природа», которую Людмила Фёдоровна любила особой любовью. А ещё на серванте бусы и заготовки для бус, иконки и подсвечники. Над сервантом – большая старинная картина неизвестного художника, на ней – распятый Христос. Слева от двери – большое, в человеческий рост, зеркало в деревянной раме, под ним – гора книг и рукописей, прикрытая ярким шёлковым платком. Большую часть комнаты занимал чёрный рояль, который Людмила Фёдоровна называла ласково Арнольдом. На крышке рояля – россыпь крымских камушков и ракушек... Маленький кусочек Крыма, который она очень любила. На стене над роялем – картины Каптерева – «Лиловая лошадь» и «Алые паруса»...

Его комната. Тёмный предбанник, – здесь, на грубо сколоченных деревянных стеллажах стояли книги. Библиотека была не очень большая, но изысканная: много поэзии, восточные мудрецы и древние философы, с которыми соседствовали Герман Гессе, Томас Манн, Александр Грин... Здесь же, в углу, стоял древний, рассыхающийся гардероб, на нём лежали картины. Картины стояли и на полу, прислонившись к стеллажам, как будто шепчась с книгами... Предбанник был отгорожен от комнаты тёмно-синей шторой и старым столом, который являл собой вместительный шкаф. В нём лежали картины. А на нём – стояли банки с кистями, валялись тюбики с краской. Рядом со столом – старый мольберт. На мольберте – сбоку, на гвоздике – фартук, заляпанный красками, в нём Каптерев работал.

Половину комнаты занимала лежащая на полу циновка, на ней – старинная посуда, кувшины, камни, кораллы, древние черепки... На стене ещё одна циновка, на ней – картины Каптерева – то немногое, что сохранилось с тридцатых годов: среднеазиатские пейзажи. Над

циновкой – картина с огненным петухом, Каптерев обожал этих птиц, у него много картин, где действующий герой – петух. В углу, под самым потолком – старинный азиатский фонарь. На толстом гвозде – азиатский халат Валерия, который он носил когда-то в экспедициях, и его тубетейки. Иногда Валерий Всеволодович надевал азиатский наряд и сейчас. Он любил старину, любил восток, и друзья отовсюду привозили ему красивые черепки, раковины и камни. И тубетейки. На стенах – картины. Повсюду – картины... Изумительный «Ночной натюрморт» – тоже работа тридцатых годов. Через десять лет она уйдёт в Третьяковку, но пока висит в доме у её создателя. У окна – лимонное деревце, выращенное из косточки. Старая узкая деревянная кровать. Старые табуретки, заляпанные краской. Брызги краски на полу... А главное – запах!.. Здесь всегда царил запах свежих красок. Запах только что написанной картины!..

Никто, лучше Людмилы Фёдоровны, не смог бы описать комнату-мастерскую Валерия Каптерева.

Здесь было всё исполнено добра.
Живое, неживое – без различья:
природы разноликие обличья —
стена и окна, птица и гора.
Здесь тишиной гармонии цела,
вещь каждая взывала необманно:
над раковиной, свитой океаном,
медлительная радуга цвела.
Свеча горела над её витком,
неярким пламенем своим сжигая время,
султаном копоты венчая озаренье,
она сгорала кротко и легко.
В нас прорастали чьи-то голоса,
рождалась суть из панциря улитки:
взывало всё – предметы и реликты,
и окон удивлённые глаза.
А рядом возводились этажи,
ночные сварки резали железо,
и город в росте был подобен лесу,
и это тоже созидала жизнь.
И стоило родиться, чтоб успеть
в наш век, и лучезарный, и зловещий,
услышать, как в тиши умеют петь
бессмертные, задумчивые вещи.
За комнату, в которой я горю,
за чудотворно сбывшиеся лики,
за мудрую жестокость, за улыбки
твоих цветущих слов благодарю.

* * *

Кухня. Разделена посудным шкафом на крошечную кухоньку и крошечную столовую. Окна нет. Вместо окна в стене над газовой плитой – вентилятор, который выходит на лестницу.

А на стене в столовой – солнечная афиша Акимовского театра комедии. Вот она-то и была окном. Окном, в котором всегда сияло солнце!..

Старинный деревянный стол на четырёх львиных лапах. Лет сто пятьдесят этому столу, а то и больше. За этим столом сидели и пили чай лучшие люди Москвы семидесятых годов...

* * *

А ещё... а ещё у них была лоджия!..

Лоджия – это особый мир. Произведение искусства. Валерий Всеволодович постарался. Здесь росло ивовое деревце, которое солнечно опушалось по весне, а потом, летом, отбрасывало на стену и на окно нежную тень... Здесь рос могучий ревень, широко разбросавший свои тёмно-зелёные мускулистые листья... Здесь, с ранней весны и до поздней осени, цвели цветы... Каптерев неумоимо ездил на Центральный рынок за рассадой и нежно лелеял свои посадки. И сколько ликования было, когда цветы начинали цвести!

– Приезжай скорее! – кричал он в телефонную трубку. – В моём саду расцвели два тюльпана! Ты должна их увидеть!

В этом волшебном саду, сменяя друг друга, цвели кудрявые гиацинты и хрупкие нарциссы... Трогательные маргаритки, озорные ромашки, задумчивые незабудки... Жаркие ноготки и пёстрые астры... А ещё здесь буйно вились бобы, вспыхивая красными огоньками цветов...

А ещё сюда залетали неведомо откуда (ведь вокруг только камень и асфальт!) и прижились тут, как у себя дома, лесные и полевые травы – ветреница и донник, лютики и одуванчики... И тоже цвели – на радость садовнику и его жене. А между цветов – всё те же, любимые им черепки и камни... И всё это сплеталось в симфонию мгновенной вечности...

Каждого гостя Каптерев тут же тащил на лоджию – показать, какое чудо у него там сегодня расцвело...

Людмила Фёдоровна обожала их сад:

Унеси в своей памяти
маленький сад,
без цветов дорогих,
без железных оград,
где трава, где ревень,
два простых деревца —
вербы вешней серебряная
пыльца...

* * *

Кстати, в этой квартире до Каптеревых жила дочь музыканта Софроницкого, и я видала её, когда она заходила как-то к Людмиле Фёдоровне по какому-то делу. Седая, совершенно серебряная женщина с тихим голосом и печальными глазами. От её облика исходила благородная печаль... глядя на неё, ты как будто сразу оказывался в эпохе Серебряного века. Она ярко запечатлелась в моей памяти – прекрасная дочь Софроницкого. Людмила Фёдоровна говорила, что в этой квартире до сих пор веет дух Софроницкого...

Но для меня в этой квартире веял дух Каптеревых!

* * *

По вторникам, после творческого семинара в Литинституте, я обязательно заходила к Каптеревым. Это уже стало прекрасной традицией.

Выйдя из ворот института, – направо, по Тверскому бульвару, к Никитским воротам, —не шла, а неслась... Под морозящим дождём, под проливным, по холодной позёмке, под хлопьями метели... Скорее – туда, где пылает очаг и зовёт...

Дальше – резкий поворот налево, на Большую Никитскую (тогда это была улица Герцена). Слева – здание ТАСС, справа – маленький, любимый мной кинотеатр Повторного фильма, – в его небольшом, уютном зале я отогревалась в те осени и зимы, когда мне некуда было идти. Когда у меня ещё не было Каптеревых. Но теперь – есть! Теперь есть дом, где меня всегда ждут...

* * *

Литературный институт – и дом Каптеревых. Как две разные планеты. Пятнадцать минут лёта – с Тверского на Огарёва, едва отталкиваясь от обшарпанных тротуаров, – и ты уже совсем в другом мире. Родном. Близком. Понятном.

Не знаю, как бы я выдержала шесть лет в институте, если бы не было у меня этой – другой – планеты. Планеты по имени Дом Каптеревых.

Не думаю, конечно, что меня институтские жернова смогли бы так уж легко перемолоть в муку, ведь я – крепкий орешек, со мной не так-то легко справиться. Но какое счастье, что был дом, где меня ценили именно за то, за что в институте били и топтали.

Был Дом. Дом как мир. Дом как храм.

* * *

В этом доме я узнала, что такое счастье. Не счастье-страдание, которое я в полной мере вкусила, бродя по Цветному бульвару, мимо старого цирка – туда-сюда... А совершенно иное счастье. Счастье-радость. Чувство, переполняющее тебя восторгом, ликованием... Это было для меня что-то абсолютно новое и незнакомое...

* * *

Его картины не выставлялись.

Её стихи не публиковались.

Спасибо Лиде Анциферовой из Черноголовки, она устроила в этом научном городке, удалённом от Москвы, (там она работала в научном институте), выставку гениального художника Валерия Каптерева. Спасибо Анатолию Парпаре из журнала «Москва» и Марку Максиму из издательства «Советский писатель» за три прижизненные публикации гениального поэта Людмилы Окназовой.

Вот и всё.

Иностранцы (которых изредка приводили друзья) тоже не особо покупали картины Каптерева, ведь в его картинах не было лакомого для иностранцев диссидентства и традиционных русских мотивов: бутылка водки, селёдочная голова и т. д.

Огорчала ли – его и её – невозможность выхода к широкой публике?

Сетований, укоризн, досады на судьбу не было замечено.

Они работали на вечность. И на одного-единственного читателя и зрителя, который придёт к ним сегодня вечером.

* * *

Они были как дети. Как Божьи дети.

Ребёнок, когда сочиняет свои стихи, или рисует свои картины, не думает об общественном признании, о выходе в широкий свет. Тем более, о материальном вознаграждении.

Ребёнок сочиняет и рисует потому, что ему этого хочется. Ему интересно. Из него это само идёт. Из него – или через него?..

Будучи взрослым, опять стать ребёнком. Открыть в себе ребёнка. Погрузиться душой в блаженное детство... Сказано ведь: «Будьте, как дети». И вам откроется царствие Небесное.

Каптеревы были детьми. Детьми, которые нашли свою обетованную землю. И этой обетованной землёй было Творчество. Творчество, которое давало им такую полноту жизни, которая и не снилась никаким «поэтам современности», вечно юлящим и желающим угодить «и вашим и нашим».

Каптеревы своим творчеством стремились угодить только Истине.

* * *

Ветхий, нищенский быт, скудная еда, некрепкое здоровье, преклонный возраст – и такая полнота бытия, столько счастья, что каждый, входящий в их дом, был точно орошаем благодатным дождём...

* * *

Они работали постоянно. Душа, воображение трудились без отдыха.

...Вот он бежит в магазин, и тут – быстрый взгляд в сторону обшарпанной стены... – и вот уже выхватывает из кармана блокнот, карандаш – и точными, быстрыми штрихами зарисовывает пятно от облетевшей штукатурки... Это пятно показалось ему интересным, говорящим, он увидел в нём некий скрытый образ, который может оказаться потом на картине уже в расшифрованном виде...

...Вот она стоит у плиты, варит гречневую кашку-размазню... но внутри идёт работа... – и вот уже, не снимая фартука, с ухваткой на коленях, она присаживается на минутку у края стола и пишет... Дорабатывает ночное стихотворение? Или это заготовка на будущее?..

* * *

Красивая горбоносая девушка в метро. Весёлая, краснощёкая торговка квашеной капустой на рынке. Колоритный старик, встреченный в булочной, похожий на восточного мудреца. Смешной рыжий воробей, задорно купающийся в луже. Загадочная трещина на стене дома, похожая на линию жизни... Необыкновенной красоты драная кошка, перешедшая дорогу... (Кстати, они оба считали, что кошка, перешедшая дорогу, – это к удаче).

Всё становилось предметом радостных обсуждений, живописных рассказов.

А потом, случалось, отражалось в её стихах, в его картинах...

Каждый выход из дома – как маленькое приключение, небольшая творческая командировка.

* * *

Они были бездетны.

Но когда я думаю о том, какими должны быть идеальные родители, я понимаю, что идеальные родители – это он и она.

Не подозревая о том, они меня воспитывали. Именно в этом доме я получила своё настоящее воспитание и образование. Хотя ни разу ничего не было сказано назидательно. Или поучительно. Ни разу в этом доме на меня не посмотрели сверху вниз. Хотя Валерий Всеволодович был старше меня на пятьдесят лет, а Людмила Фёдоровна на сорок пять. Но общение было абсолютно на равных.

Они воспитывали меня своим присутствием в моей судьбе. Воспитывали своей жизнью. Своим творчеством.

Они были настоящими учителями жизни, совершенно к этому не стремясь и никак не заявляя о своём учительстве. Они просто БЫЛИ. Такие, какие они ЕСТЬ. Они просто жили СВОЮ жизнь. И это было так заразительно и вдохновляюще!

* * *

Всё было творческим актом. У неё и у него. Мытьё посуды, поездка на рынок, приготовление простой еды, обжигание хлебного батона над газом...

* * *

Хлеб обжигался над газом для уничтожения бацилл. Однажды Людмила Фёдоровна видела, как грузчики выгружали хлеб у булочной, хлеб падал из лотков на замызганный тротуар, и мужики своими грязными ручищами запихивали его обратно в грязные лотки. С тех пор Людмила Фёдоровна обжигала хлеб. Она рассказала как-то дивную историю, что в Европе хлеб в магазинах продаётся в целлофановых пакетах – слышать это было ошеломительно: неужели бывает на свете такое?! А по кухне в это время разносился аппетитный запах подгоревшей хлебной корочки...

Кстати, Людмила Фёдоровна терпеть не могла, когда хлеб клали «неправильно». Как сейчас слышу её вскрик: «Кто это кладёт хлеб кверху пузом?» Она считала, что лежать вот так – «кверху пузом», – хлебу неудобно и унижительно.

Людмила Фёдоровна была чистюля и аккуратистка. Обеденный стол тщательно протирался ваткой с одеколоном, чашки сверкали чистотой, Людмила Фёдоровна драила их щёткой с мылом, до мытья посуды никто не допускался, и когда, наконец, была допущена я... О, как я гордилась этим! Людмила Фёдоровна мне доверяет мытьё посуды! Да, такое доверие надо было заслужить.

Кстати, раковина на кухне тоже сверкала неизменной чистотой.

Все входящие в дом тут же отправлялись в ванную – мыть руки. Это было ритуалом, который никогда не нарушался. Полотенце в ванной и мойка тоже сверкали чистотой!

За эту страстную любовь к чистоте друзья над Людмилой Фёдоровной даже подшучивали. Да и она сама над собой подшучивала тоже.

Людмила Фёдоровна любила рассказывать одну «очень страшную историю», как зашла к ней однажды приятельница и, не помыв рук, прошествовала тут же на кухню и плюхнула на обеденный стол пыльную кошёлку. (В этом месте рассказа у Людмилы Фёдоровны было такое изумлённо-страдальческое выражение лица, что можно было только догадываться, какой эмоциональный шок она пережила во время той вопиющей сцены!) И когда она воскликнула: «Марь-Павловна, что вы делаете?!», Марь-Павловна, смерив её снисходительным взглядом, строго отчеканила в ответ:

– Людмила Фёдоровна, не безумствуйте!

Это стало любимой поговоркой её друзей – «Людмила Фёдоровна, не безумствуйте!»

Но при этом гости не снимали уличной обуви. И полы в доме не мылись.

* * *

Они не делили домашнюю работу на мужскую и женскую, мог он приготовить кашу, могла она. Но в магазины, на рынок, в прачечную, в разные конторы ходил он – потому что он так решил, потому что он её любил и всячески оберегал он лишних нагрузок.

Всё делалось с охотой, с вдохновением.

Ни он, ни она никогда не жаловались на усталость, на то, что «быт заедает». Хотя быта было не меньше, чем у других. Тем более, что жили они в старом доме, с извечной проблемой протекающих труб, капающих кранов...

Но ведь не обязательно тратить на это нервы, лучше включить воображение. И поход в жилищную контору, и звонок сантехнику – всё потом пересказывалось друзьям, как маленькое приключение. У сантехника оказывался восхитительный греческий профиль, а конторские служащие – вовсе не герои картин Босха, а гораздо симпатичнее.

* * *

Глядя на них, я сделала для себя потрясающее открытие: старость – самое прекрасное время жизни!

Уже знаешь, кто ты. Уже знаешь, что ты хочешь. Уже отсеялась всякая мелочёвка, всякая шелуха ненужных дел, пустых желаний, мелких отношений. Уже знаешь, что тебе нужно в этой жизни сделать, и можешь это делать!

Жизнь, бытие заострилось до пронзительного луча...

И если идти по этому лучу, то...

* * *

Валерий Каптерев всю жизнь был художником. И только художником.

Хотя в юности учился в институте кинематографии. В двадцатые годы молодёжь была очарована новым видом искусства – кино. Но кинооператором Каптерев так и не стал – его целиком захватила живопись. Живопись стала его страстью, его образом мышления, его способом взаимоотношений с жизнью. Своим учителем он считал Александра Шевченко. Его любимым художником был Сезанн.

А Людмила Фёдоровна – всю жизнь шла к своему истинному призванию.

В детстве занималась музыкой и балетом, но ни профессиональным музыкантом, ни балериной не стала. Этому помешали революция, гражданская война, полная разруха привычной и дорогой сердцу жизни, ранняя смерть матери...

В молодости Людмила Фёдоровна работала сценаристом в кинопоезде, был такой поезд-кинофабрика. Этот необычный поезд колесил по стране и снимал документальные фильмы. Во время войны она работала домоуправом в своём любимом Скатертном переулке. А потом – много лет ходила на службу в музей Николая Островского, но не потому, что это был её любимый писатель, а просто так сложилось.

И только уйдя на пенсию, в пятьдесят восемь лет, она открыла в себе то, ради чего и родилась на этот свет...

* * *

Она говорила, что по-настоящему счастливой почувствовала себя, только выйдя на пенсию. Наконец-то свобода! Не нужно ходить на службу, не нужно рано вставать, что для неё, «совы», это всегда было пыткой. Наконец-то! наконец-то можно полностью посвятить себя творчеству.

Год она дышала свободой.

А потом пошли стихи...

У неё началась новая – самая главная – жизнь.

* * *

Кстати, когда они поженились, она тоже рисовала. Но он сказал строго: «Два художника в одной семье – это слишком много».

Она смирилась. И картин больше не рисовала. Но... она всё равно продолжала рисовать! Она писала гуашью по медным пластинкам. Получались изумительные миниатюры. Которые она легко раздавала друзьям.

А ещё она делала потрясающие бусы из хлеба!

Из рижского хлеба вылепливались шарики. Шарики протыкались спичками и высушивались. (Таких шариков-заготовок, больших и маленьких, у неё всегда было много, они сушились на картонках из-под тортов). Потом шарики покрывались эмалью и расписывались гуашью. Тонкой кисточкой, очень сосредоточенно, нацепив большие очки на кончик носа... Каждая бусина выходила из её рук настоящим произведением искусства. Она никогда не повторялась, не копировала себя. Каждая нитка таких бус была настоящим шедевром. Она любила делать бусы на дни рождения своим друзьям. Дарила с лёгкостью, с наслаждением...

* * *

Её любимыми поэтами были: Арсений Тарковский, Давид Самойлов и Борис Пастернак. Обожала Булата Окуджаву.

Её любимые романы – «Иосиф и его братья» Томаса Манна, «Игра в бисер» Германа Гессе и «Вино из одуванчиков» Бредбери. Всё это читалось в машинописи.

А ещё она очень любила Александра Грина – тут мы с ней полностью совпадали. Ей подарили полное собрание сочинений Грина, вышедшее в 1965 году, и она была счастлива.

(Кстати, Каптеревы были знакомы с женой Грина, Ниной Николаевной, и, бывая в Крыму, всегда её навещали в Старом Крыму, пока она была жива.)

* * *

Каптеревы не любили больших сборищ. Здесь не было просто посиделок, просто чаепитий, здесь не было случайных людей, от скуки залетевших на огонёк.

У них не было задачи перезнакомить между собой всех своих друзей. Они любили общаться малым кругом, а лучше – наедине. И он, и она умели настроиться на человека, как чуткий камертон. Умели слушать. Говорили только о главном, о важном. Умели давать ненавязчивые советы. Умели утешить, отогреть...

Общение для них было настоящим творческим актом. И для неё, и для него.

То, что я выжила после ухода Моего Клоуна, то, что меня не сломал Литературный институт, не внушил пожизненный комплекс неполноценности, – за всё за это я должна благодарить Каптеревых. И Господа Бога, который распахнул передо мной двери их дома... И, конечно, Гавра, который меня в этот дом привёл.

А главное, за то я благодарна дому Каптеревых, что можно было отогреться у их очага, зализать раны, попить чайку – и вновь почувствовать себя живой. И увидеть, что жизнь – прекрасна!

* * *

Они были людьми вне возраста. Их невозможно было назвать стариками. Многие молодые друзья называли их просто по имени: Валерий и Люся.

* * *

Он считал женщин существами более высшими, чем мужчины. Он обожал женщин, преклонялся перед ними. Очень любил рисовать женские портреты. Любил рисовать «внутренние портреты» женщин. «Внутренний портрет» – это жанр, который изобрёл Валерий Каптерев. Через изображение различных предметов, а порой с помощью чистой абстракции он передавал внутренний мир женщины. И та, которую он так необычно изобразил, обычно восклицала: «Да, это я!»

Но самый дивный женский портрет – это портрет жены. Он называется «Сон Людмилы Фёдоровны». На нём Людмила Фёдоровна изображена лежащей в цветах, среди порхающих бабочек... Она – как будто душа этой цветочной поляны, прекрасная, воздушная фея...

Её душу он чувствовал лучше всех.

* * *

Он называл её Кошкой. И она была истинной кошкой. И как в каждой истинной кошке, в ней были грация и лукавство, мягкость и чуть-чуть кокетства, любовь к свободе и независимость суждений. Она была гордой и величественной кошкой восточных кровей.

* * *

Она называла его Котом. А ещё – Главкотом. И он был-таки котом! Котом с пиратского корабля. С переменчивым настроением и резкими прыжками. Мог издать раздражённое шипение и оглушительное «мяу!», если что-то было не так. Слишком против шерсти. Но, в общем, добрый малый, в глубине души любящий ласку и доброе слово.

Но бывало так – Кот недоволен. Кот сердится. Отчего Кот мог сердиться? Он не выносил, когда приходили без звонка. Когда приходили слишком рано. Он дорожил утренним временем – для работы. А главное – он стерёг сон своей Кошки, которая спала до обеда. И если кто-то приходил слишком рано и, к тому же, без звонка, этот кто-то мог впасть в немилость.

Случилось, что и я впадала в немилость – на целых три дня! Не предупредив, желая сделать им приятный сюрприз, я привела к ним в дом их давнего знакомого (который, как потом оказалось, был давно и навсегда «отлучён» от дома.) Кот на меня сердился. Очень сердился!

Но потом Кот сменил гнев на милость, и Людмила Фёдоровна тут же позвонила мне:
– Приходи сегодня вечером, мы так соскучились! И Кот тоже.

* * *

Кошка страдала циклотемией, по крайней мере, так она сама называла эти упадки настроения и периоды меланхолии. Нет, она ни на что не жаловалась, просто была печальна, и Кот готов был всё для неё сделать, только бы её глаза опять залучились.

* * *

Для меня было счастьем абсолютно всё в этом Доме. Смотреть новые картины Валерия, слушать стихи Людмилы Фёдоровны, пить чай на маленькой кухоньке, читать им свои новые стихи, говорить с Людмилой Фёдоровной о смысле жизни, о вере, о любви, мыть посуду, выносить во двор мусорное ведро, идти с Валерием в прачечную самообслуживания... Всё было счастьем, праздником, сказочной наградой неизвестно за что...

* * *

Сидеть в комнате Валерия на жёстком топчане и смотреть его новые картины, вдыхая головокружительный запах свежих красок... Ах, как пахнет только что написанная картина!.. Смотреть. Вбирать. Впитывать в себя. Но не обязательно при этом говорить. Мы умели общаться молча, без слов. Мы оба были молчуны и ценили ёмкость молчания. Не менее, чем полноту слова. Он смотрел искоса, боком, как птица, прищунив голубой глаз. Никогда не забуду этот острый взгляд. Этот мощный массивный профиль античного мудреца. С него можно было лепить Сократа.

И хоть он был не очень высок ростом, но был большим, сильным, могучим. Он был сгустком энергии. О, его знаменитые «прыжки тигра!» Когда что-то надо было срочно достать

(к примеру – книгу, которая только что вышла, или лекарство для Люси), или сделать какие-то решительные действия (как было этим летом, когда он выбивал для них квартиру) – он собирався внутренне и совершал этот самый прыжок тигра! Доставал. Добивался. Никогда не жаловался на трудности. На здоровье. Считал это ниже собственного достоинства. Хотя перенёс два инфаркта. Но жил, не экономя сил, жил мощно и красиво. Ходить спокойно не умел. Носился по дому, как вихрь, как тайфун...

А как он галантно уступал в метро место женщинам! О, это надо было видеть! И в семьдесят два, и когда было уже восемьдесят. Он не мог сидеть, когда рядом стояла женщина. И пусть она была совсем молоденькой, а он годился ей в дедушки, – неважно! Он тут же пружинисто вскакивал и был так галантен и учтив, как настоящий рыцарь. Да, было в нём что-то от средневековых рыцарей. Но всё же больше – от героев античных мифов...

* * *

У неё – тонкий горбоносый профиль. Тонкие губы. Высокий лоб. Зачёсанные назад чёрные, с сединой, мягкие волосы, заколоты в небрежное что-то такое (неважно!). С неё можно было бы рисовать восточную царицу. Высоко, удивлённо вскинутые брови, как крылья птицы. Но самое потрясающее в её лице – это, конечно, глаза. Они какого-то непостижимого цвета... Нет-нет, не чёрные и не карие, а какие-то сизые. И эти глаза светились... Они казались огромными на узком, бледном, худом лице. Они сияли, светились навстречу тебе, мне... Они обнимали светом и теплом. Они были полны внимания и любви. И какой-то потаённой печали...

* * *

Её бабушка по отцу была украинка, а бабушка по матери – кабардинка. Людмила Фёдоровна говорила с гордостью: «Я – кабарда!» Смешение двух южных кровей дало миру изумительного русского поэта.

* * *

Людмила Фёдоровна рядом с Валерием Всеволодовичем казалась былинкой. Они удивительно дополняли друг друга. Прекраснее этой пары я никого не знаю. Он – скала, она – былинка. Скала, которую не сокрушить, и былинка, которую не сломать.

* * *

Он и она.
Это были равновеликие величины.

* * *

Людмила Фёдоровна обожала город своего детства – Кисловодск. Там она жила с родителями в своём доме, с большим садом, там отец работал врачом. Там были занятия музыкой и балетом, там стоял любимый собор на площади, (который потом взорвали большевики, а потом, через семьдесят лет, его восстановили, но она этого уже не увидела). Там, в Кисловодске, были любимые горы, там была первая любовь...

* * *

Она говорила:

– Я одинаково любила их – маму и отца. Они были – как два моих крыла. Я была очень счастлива в детстве. Это счастье оберегает меня всю жизнь – любовь моих родителей. Я им очень благодарна. Они были моими лучшими друзьями...

Впрочем, родилась Людмила Фёдоровна в Киеве, где её отец в то время учился в университете. Но ещё младенцем её увезли в Кисловодск.

* * *

Людмила Фёдоровна любила рассказывать о своём кисловодском детстве. Мне хорошо запомнились три истории.

История первая – про математическую тупость. В детстве ей совершенно не давалась математика. Услышать об этом было удивительно. Ведь у неё было прекрасное логическое мышление, очень живой, подвижный ум. Она общалась с учёными, и те поражались глубине и остроте её реакций. Это была самая умная женщина из всех женщин, которых я встречала в своей жизни. Она читала сложные, философские книги. К ней приходили обсудить не только личные, или творческие проблемы, но и глубоко мировоззренческие.

...Но когда-то в детстве, во время обучения в кисловодской гимназии, она слыла девочкой со средними способностями в точных науках. Особенно в математике. Не помог и репетитор. Устав втолковывать Люсе элементарные вещи, он выдал Люсиной матери заключение:

– У вашего ребёнка математическая тупость!

Да просто ей скучны были «элементарные» вещи! Как любому гению. Гений не заморачивается элементарной чепухой. Его ум, его воображение обживают другие измерения...

История вторая – про зелёные яблоки.

Лет в двенадцать Людмила Фёдоровна тяжело заболела. У неё отнялись ноги. У неё – лучшей ученицы местной балетной школы!

Её отец сам был врач, и все лучшие врачи Кисловодска смотрели исхудавшую, бледную Люсю, у её кровати собирались бесконечные консилиумы, но никто не мог понять, что с ней стряслось, и как это поправить. Не помогали ни лекарства, ни массаж. Ноги её по-прежнему не держали! Родителям врачи намекали на то, что им надо смириться с тем, что их дочь, их единственный и обожаемый ребёнок, останется инвалидом.

Было лето... Каждое утро Люсю выносили в сад и укладывали в гамак, натянутый между двумя старыми яблонями. Яблоневые ветви свисали низко над гамаком...

Целыми днями Люся, лёжа в гамаке, читала книги и... поела кислые зелёные яблоки. Которые срывала без чьей-либо помощи. Это было просто – только протяни руку. Она ела эти недозрелые плоды с жадностью и страстью, как будто никогда до того не ела яблок. И никак не могла утолить свою жажду на эту кислятину...

А к концу лета она встала на ноги!

Врачи не могли понять, что за чудо произошло. Но, услышав про зелёные яблоки, все пришли к выводу, что исцеление пришло именно от них...

История третья – смешная. Людмила Фёдоровна была ещё совсем маленькая, лет пять ей было. И однажды услышала она от кого-то из гостей, пришедших к родителям, фразу, которую совершенно не поняла, но которая её потрясла до глубины её детского сознания. Запомнила с лёгкостью, потому что память у неё была не просто прекрасная, а фантастическая!

И когда в следующий раз к родителям пришли гости, она им выдала с ликованием эту полюбившуюся ей фразу, чем повергла в шок и гостей, и родителей:

– В наш век абстрактных идей, в сфере позитивной логики каждый индивид имеет право на абсолютный эквивалент эмансипации!

После чего это стало семейной традицией. Только гости заспорят о чём-нибудь, не желая слушать друг друга, как отец говорил Люсе:

– А ну-ка, дочка, скажи им, что ты по этому поводу думаешь!

И маленькая Люся, для убедительности забравшись на стул, с самым серьёзным видом выдавала:

– В наш век абстрактных идей, в сфере позитивной логики, каждый индивид имеет право...

Да, этот индивид в белом платице с кружевами, с огромными чёрными глазами и пышным бантом в чёрных блестящих волосах, этот индивид имел право на абсолютный эквивалент эмансипации!

...И, спустя много десятилетий, когда, бывало, заспорят гости о чём-нибудь на каптеревской кухне, Людмила Фёдоровна с хитрой, кошачьей улыбкой произносила эту, примиряющую и веселящую всех, нестарющую и нетускнеющую фразу:

– Друзья мои, зачем спорить? В наш век абстрактных идей...

Да, на этой волшебной кухне каждый индивид имел право. *Быть собой.*

* * *

У Людмилы Фёдоровны были и другие любимые выражения.

Например, когда происходил какой-то жизненный казус, она трагически восклицала:

– Такова сэляви!

И ей самой, и окружающим становилось смешно.

А когда ей рассказывали о чём-то необычном, не поддающемся ни логическому, ни вообще никакому объяснению, она задумчиво произносила:

– Да, наука имеет много гитик...

– Людмила Фёдоровна, а что такое «гитик»?

– Гитик – это *гитик*! – говорила она таинственно и многозначительно.

* * *

А Главкот, когда сильно был возмущён чем-то, ворчал чисто по-кошачьи:

– Шшшмаркок!..

(В смысле: кошмар!)

* * *

Валерий Всеволодович родился в Варшаве, где служил в то время его отец-офицер.

Но ребёнком его привезли в Москву, и по духу он был коренным москвичом. Всю жизнь прожил на Кадашевской набережной. В прекрасной квартире с окнами, глядящими на Кремль. В той самой квартире, где после революции (в результате подселения и уплотнения) у Каптеревых осталась одна-единственная комната.

И откуда они с Людмилой Фёдоровной в итоге вынуждены были бежать – потому что это была самая жуткая коммуналка, какую только можно себе представить: пьянки соседей, склоки, скандалы, драки...

Но когда-то, до революции, всё было по-другому... Когда-то – в другой жизни...

Когда-то, когда Валерий был ещё малышом, нянька гуляла с ним по набережной. Нянька держала его на руках. А навстречу шёл Лев Толстой. Он внимательно посмотрел на маленького Валерия и сказал:

– Этому ребёнку нужно дать как можно больше свободы!

* * *

Они встретились, полюбили друг друга и поженились, когда ему было пятьдесят, а ей – сорок пять. (А я как раз родилась в тот год! Странно, почему не у них?..)

У неё это был третий брак, у него – второй. Ни у неё, ни у него никогда не было детей.

* * *

Они были друг для друга прекрасными катализаторами. Рядом с ней – будучи художником – невозможно было не писать картин. Рядом с ним – будучи поэтом – невозможно было не писать стихов. Воздух их дома был насыщен творческими разрядами, как воздух во время грозы ионами. В такой атмосфере невозможно было стареть. В такой атмосфере невозможно было не творить.

* * *

«Лиловая лошадь» – картина Валерия на стене в её комнате.

Напиши мне лиловую лошадь
в диком свете приморского зноя,
даже если тебе дороже
написать что-нибудь другое.
Даже если писать портреты,
натюрморты придёт охота,
даже если и есть запреты
на портреты подобного рода.
Напиши! Ничего ведь не может
быть милее затеи жгучей.
Ведь придумать лиловую лошадь —
это тоже особый случай...

Что было в начале? Слово. Стихи. Её просьба, обращённая к нему. Потом родилась картина. В ответ на это – ещё стихи.

Голубушка, лошадь, лошадушка!
Простор ветровой нараспах...
Ах, всё это тихие шалости —
мечты в мимолётных стихах.
Отвязана, в срок расколдована,
на волю, к цветущим морям
летишь через рвы и колдобины,
над твердью крылато паря...

* * *

Он любил рисовать цветы, она любила писать о цветах.

Она любила писать о цветах, полных свежести и аромата, рвущейся из всех бутонов жизни...

Когда природа подымает голос
до напряженья, равного любви,
из почв встаёт сонливый гладиолус,

и солнце говорит ему: живи!
...
Чем станет он?
Он весь – живая тайна,
он весь – надежда,
скопище надежд.
Но вот уж многоликое блистанье
в зелёном плене проторило брешь...

Ему нравилось рисовать увядшие цветы, и я с тех пор нахожу необыкновенную красоту в увядших цветах.

«Увядшие цветы в разбитой вазе, в расколотом пространстве» – одна из моих любимых каптеревских картин. Красота старости, увядания, проявление новых очертаний, нового смысла. В увядшем цветке заостряется его суть, его смысл.

Разбитая ваза, расколотое пространство... Разбивается видимое – чтобы стало видно Невидимое... Разрывается кокон – из которого вылетает бабочка смысла, бессмертия...

* * *

Всё чаще в стихах Людмилы Фёдоровны о цветах слышалась мелодия *преображения*:

Одуванчика душа
покидает стебель:
звёзды белые пушат
над горячей степью.
Ничего не увидеть
за летящим пухом...
Значит, надо увядать,
чтоб воскреснуть духом?
Вянут жёлтые тельца,
догорели свечи...
Дым к подножию Творца
тянется навстречу.

* * *

Он был «жаворонок», она – «сова».

Он вставал рано, пил вчерашний чай, выходил во двор покормить птиц. Потом шёл в булочную, или ехал на Центральный рынок на Цветном бульваре. Возвращался, закрывался в своей комнате и работал...

Она вставала около полудня. Иногда позже. Смотря во сколько уснула. Заваривала свежий чай. Он выходил из мастерской, пили чай вместе. Иногда в это время заходил какой-нибудь дневной гость. Частенько этим дневным гостем была я.

К чаю обычно был хлеб и сыр. Помню, как к чаю у них был лишь один плавленый сырок на двоих. Но это их нисколько не печалило. Друзья, зная скудость их стола, всегда старались принести что-нибудь к чаю. Это было так приятно – принести кусок любимого ею сыра «чеддер», или пакетик любимого им сухого зелёного сыра. Или ещё что-нибудь вкусненькое. Они радовались, как дети...

Итак, пили вместе чай. Потом Валерий уходил в мастерскую. Иногда звал посмотреть новую картину. Иногда приносил её на кухню.

Он называл свои картины смешно и небрежно – «замазючки». Это от скромности и от застенчивости.

* * *

...А после ухода вечерних гостей начинался её рабочий день, точнее – рабочая ночь. Она писала по ночам...

А перед сном, уже на рассвете, оставляла в кухне на столе озорную записку с каким-нибудь смешным рисунком – для Валерия. И своё новое стихотворение.

Тебе, восставшему так рано
от сна блаженных небылиц,
дано воистину по праву
насытить первый голод птиц.
Когда к тебе
крылатым снегом,
будя дворов рассветных тишь,
слетит воркующее небо
из-под навесов зимних крыш...

Засыпала часа в четыре утра.

* * *

Он писал картины в первой половине дня, она стихи – после полуночи.
В его картинах – энергия и краски дня. В её стихах – тишина и мудрость ночи.

* * *

Я любила приносить им цветы. Все любили приносить в этот дом цветы. Без цветов идти к ним было как-то не интересно. Они так радовались цветам! Часто какой-нибудь простенький букетик оказывался потом героем его картины, или её стихов.

* * *

Людмила Фёдоровна не была «дамой». Совершенно не помню её нарядов.

Оправа была так неярка и скромна, можно даже сказать – бедна: какая-нибудь сиреневая водолазочка, или белая в чёрную полосочку, а поверх неё – зелёнький, в мелкий белый горошек, ситцевый халатик-безрукавка. Вот это почему-то помню... Но было ведь что-то ещё. А что?... Совершенно не помню! Иногда по случаю дня рождения, или другого праздника, надевались старые, потемневшие клипсы...

Но даже если бы оправа была богата, или даже шикарна, – она всё равно была бы не видна. Потому что была не важна.

Потому что её душа так светилась, так ярко был этот свет... он всё затмевал собой – любой наряд. И сводил его значение к нулю.

* * *

И при этом Людмила Фёдоровна оставалась женщиной. Я не встречала женщины, прекраснее её.

Да, со своей худенькой фигурой-палочкой, со своими руками-спичечками, Людмила Фёдоровна оставалась женщиной, полной грации, женственности и обаяния. И даже иногда милого кокетства (чуть-чуть). Такой милой игры. Она была невероятно остроумна. Она так заразительно смеялась... А себя она, смеясь, называла «драной кошкой».

А эти её записки к нему! Полные кошачьего, чисто женского лукавства...

* * *

Часам к пяти готовился супчик. Чаще всего – сырнй, из плавленого сырка, плюс картошка и морковка. Она посыпала его зелёным лучком, состриженным на подоконнике.

Еда была совсем простая. Холодильника в доме не было, поэтому ничего не готовилось впрок. Масло в пиале заливалось на ночь холодной водой. И супчик, и кашка – всё съедалось подчистую, помогали голодные гости, случались и такие. Так что на следующий день был новый супчик и новая кашка. Но любимая еда Валерия – это отварная картошка с квашеной капустой, ему больше ничего и не надо было.

Иногда Людмила Фёдоровна пекла оладушки. Они все получались у неё разной формы, и в каждой оладушке кто-то угадывался: «Бегемотик! – восклицала она радостно, как ребёнок. – Кролик! Ещё один бегемотик!»

А на праздники и на дни рождения она делала маленькие пирожные «бизе» – единственный свой кулинарный изыск. Целую гору! Бизешки у неё получались смешные, и тоже они все были похожи на разных диковинных существ.

А Валерий Всеволодович иногда пёк пироги! Да, именно он, а не она.

Пироги выходили всегда диковинные, тоже каждый со своей неповторимой «физиономией». Он вынимал их из духовки, румяные, ароматные... Они всегда были с начинкой: с капустой, картошкой, или с чем-нибудь сладким, джемом или вареньем.

Он и варенье любил варить! Всегда какое-нибудь экзотическое...

И тут же раздавался звонок:

– Загляни к нам на огонёк! Кот испёк такой пирог, – пальчики оближешь!

Или:

– Ты пробовала когда-нибудь варенье из молодых грецких орехов и винограда? Кот наколдовал. Приходи обязательно!

* * *

Как они жили на две крошечные пенсии – шестьдесят рублей у него и сорок пять рублей у неё? А ведь нужно было покупать краски, кисти, картон. И лекарства. И платить за квартиру. Нужно было по чуть-чуть откладывать на поездки – Валерию необходимо было раз в год съездить в Крым. Это была для него зарядка на весь год. Когда-то они ездили вместе, но в те годы, когда мы с ними общались, Людмила Фёдоровна оставалась в Москве. И лелеяла мечту съездить когда-нибудь в город детства – Кисловодск... Она хотела, чтобы мы съездили туда вместе.

Ещё деньги нужны были на книги! На выставки. На консерваторию. И на чай и кашу, в конце концов! Одежду не покупали, ходили в старых пальто, но не комплексовали по этому поводу. Всё это было совершенно неважно! Они были давно выше этого, выше всего материального. За все годы, за все тринадцать лет, я ни разу не слышала, чтобы в этом доме говорили о деньгах и о вещах, на тему: «что почём и где достать».

Не было в доме и телевизора. Было только старое допотопное радио в комнате у Валерия, которое включалось очень редко.

* * *

Он говорил, что его предки – морские пираты. Да, он был похож на пирата. На капитана пиратского корабля. Он любил носить старую тельняшку и повязывал порой голову цветастым

платком. Ещё у него была короткая седая шкиперская борода. А усов не было. Он говорил: «Борода – краса мужей. А усы и у кошки есть». В нём бушевал океан...

* * *

Он любил Восток.
А она носила Восток в себе.

* * *

Они любили общаться с физиками, археологами, астрономами, актёрами...
В этом доме перебивало много самого разного народу.
Многие, многие приходили отогреться у их очага. Увидеть настоящую живопись. Услышать настоящую поэзию. Поговорить о самом главном. Зарядиться творческой энергией и светом.

* * *

Он пытливо глядел в глубину.
Она – вверх...

* * *

Они оба были глубоко верующими людьми.

Но ничего в их вере не было на показ. Он вообще не любил «религиозников», как он называл людей, которые всячески демонстрировали свою причастность к христианству – экзальтированной набожностью, строгостью постов и разговорами только «об этом». Если кто-то из гостей заводил на кухне сугубо религиозный разговор (на тему: как «правильно» верить и как «неправильно»), Валерий Всеволодович вставал и молча уходил в свою комнату. И он, и Людмила Фёдоровна хорошо отличали нарочитую набожность от истинной веры

Хотя по рождению, по воспитанию и по образу жизни они были христианами, но их интересовали и другие религии – мусульманство, буддизм, иудаизм. И это естественно, ведь они оба любили Восток.

Одно время (это ещё до нашего знакомства) Людмила Фёдоровна была сильно увлечена буддизмом. И всё же буддизм в её душе не смог перевесить ценностей христианства. Она горячо любила Христа. Христа не мог затмить никто.

В церковь ходили редко. Молились дома. В сердце своём. Своей жизнью.

Возлюби ближнего. Принимай жизнь без ропота, но с благодарностью. Не стяжай материальных благ, но лишь духовные. Умей радоваться малому. Это всё – о них.

Святая, блаженная нищета их обители...

* * *

У Каптерева много картин, полных мистического и поэтического переживания веры. Начиная с «Вечернего звона», который так поразил меня в самый первый мой приход к ним. А каким тёплым, живым светом пронизан его «Католический поэт»!..

«Ангел», «Архангел», «Ангел смерти» – он редко показывал эти картины гостям. Только близким друзьям. Это было слишком внутреннее, слишком личное. Его чувство веры было в высшей степени целомудренно.

У него есть потрясающая «Еврейская серия», полная проникновенных мотивов древней, неизбывной печали...

А завораживающий «Танец дервишей», таинственный «Разговор восточных мудрецов», изумляющая «Святая ведьма»!

Своим острым, внимательным взглядом художника он проникал очень глубоко... Ничего не навязывал. Не выдавал никаких рецептов. Он лишь помогал видеть, чувствовать и размышлять...

* * *

Весной он любил писать сирень. Сирень была для него земной ипостасью Вечности.

С начала весны он начинал ждать сирень, как ждут любимую женщину, томясь и волнуясь, в горячем нетерпении... Помню, как Людмила Фёдоровна говорила:

– Валерий ждёт сирень... У него уже наготове кисти и краски. А она в этом году что-то запаздывает...

И когда она, наконец, приходила, – все несли ему охапки сирени!.. А Саша Филистеев, их старинный друг, принёс однажды целый сиреневый куст! Людмила Фёдоровна рассказывала:

– Раздаётся звонок в двери. Открываю... А за дверью – сиреневый куст, весь в цвету!.. Только Саша мог до такого додуматься! Он умеет делать такие сюрпризы.

Весной семьдесят третьего года Валерий Всеволодович за неделю написал целую сиреневую серию. И все его «Сирени» абсолютно разные! Сирень реалистическая – и сирень мистическая, сирень буйная, тяжёлая, плотная, плоть сирени – и сирень лёгкая, прозрачная, воздушная, душа сирени... Вся мастерская была заставлена свежими работами – портретами его возлюбленной сирени. Здесь и сирень-витраж. И сирень-воспоминание. И сирень-намёк. И внутренний портрет сирени...

* * *

И Людмила Фёдоровна обожала сирень!.. И очень любила эти дни, когда он писал сирень.

Мы видим сад из твоего окна,
он ветки мокрые протягивает к нам.
Грохочет ливень,
рухнувший со свода.
А нам – смотреть
на бешеную воду,
сад напоившую сполна.
Вздохнула на холсте твоём Сирень:
в дождливый час,
в счастливый час творенья,
художником, влюблённым
в бред сирени,
воспета веток благодатная лень...
Сирень, сирень!
Она дождя щедрей:
в лиловом облаке
скрывая облик женский,
глаза мои наполнила блаженством
и попросила тихо:
– Не старей!

* * *

Мой любимый Дом.

Здесь можно быть собой. Главное – здесь не страшно быть собой.

Здесь тебя понимают. Здесь тебя принимают такой, какая ты есть.

* * *

«Главное – чтоб было написано».

Много раз слышала я от Людмилы Фёдоровны эти слова.

Каково это: писать стихи – и не публиковаться, писать картины – и не выставляться. Трудно ли это? Обидно ли? И так ли уж это необходимо творцу – общественное признание? И каждому ли творцу оно необходимо? Кто-то, не имея его, ударится в запой. Кто-то наложит на себя вето и перестанет писать – я знаю таких людей. Почему же один спивается, а другой продолжает творить? Писать потрясающие картины. Писать гениальные стихи.

– Главное, чтоб было написано, – говорила она.

Для неё, так же как и для него, это действительно было главным. Не признание, не почёт, не слава, не материальное вознаграждение – а осуществление своего призвания. Для неё, так же как и для него, это было как дышать. Как смотреть в небо. Как кормить птиц. Мы же не ждём общественного признания за то, что дышим, смотрим в небо, кормим птиц. Для этих двух удивительных людей творчество – это постоянный диалог с Богом. Молитва. Форма жизни и факт жизни. И суть жизни. Энергия каждого дня. Да, это было не то творчество, за которое требуют награды – да поскорей! Ибо само творчество и было наградой. Наградой за верность себе, своему пути. Это было величайшей наградой, перед которой меркнут все минутные бонусы...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.